

Б И Б Л И О Т Е К А

ISSN 0132-2095



ОГОНЁК

№ 26 1985



ПОЧТИ ЖИЗНЬ ТОМУ НАЗАД...

РАССКАЗЫ О ВОЙНЕ

МОСКВА. ИЗДАТЕЛЬСТВО «ПРАВДА»

БИБЛИОТЕКА «ОГОНЕК» № 26

ПОЧТИ ЖИЗНЬ ТОМУ НАЗАД...

РАССКАЗЫ О ВОЙНЕ

Москва. Издательство «ПРАВДА»
1985

В сборнике рассказов, посвященных 40-летию Победы нашей Родины в Великой Отечественной войне, представлены авторы разных поколений и профессий. Среди них моряк, киноактриса, писатель, журналисты. Одни из них принимали непосредственное участие в боях. Другие встречались с фронтовиками и партизанами, слушали их воспоминания и решили сделать их достоянием читателей.

Павел ДУБИНДА

ПОЧТИ ЖИЗНЬ ТОМУ НАЗАД...

Дубинда Павел Христофорович (р. 12(25).7.1914, с. Прогной, ныне с. Геройское Голопристанского р-на Херсонской обл.), Герой Советского Союза (29.6.1945), кавалер ордена Славы трех степеней (1944, 1944, 1945), гвардии старшина (1945). В ВМФ с 1936-го. Во время Великой Отечественной войны служил на крейсере «Червона Украина» Черноморского флота. После гибели крейсера в ноябре 1941 года направлен в 8-ю отд. бригаду морской пехоты. В июле 1942 года при обороне Севастополя был тяжело контужен и взят в плен. После смелого побега с марта 1944 на службе в рядах Советской Армии. В бою за село Пешикен первым ворвался в траншею пр-ка, в рукопашной схватке уничтожил четырех гитлеровцев и взял в плен офицера. За этот подвиг был удостоен ордена Славы I степени. 13 марта 1945 года во время штурма позиций пр-ка увлекая за собой бойцов, первым поднялся в атаку и со своим взводом захватил в плен 30 солдат и офицера. 15 марта взвод под командованием Дубинды уничтожил до роты пехоты и захватил 2 пушки. За боевые подвиги и проявленное мужество Дубинда было присвоено звание Героя Советского Союза. В августе 1945 года Дубинда демобилизовался и работал боцманом на корабле антарктической китобойной флотилии «Слава»...

«Советская военная энциклопедия», т. 3, стр. 265.

1

Родился я на дубке, который носил необычное двойное имя «Друг-братец». Это случилось накануне империалистической войны июльским летом 1914 года. Дубок принадлежал моему отцу — Христофору Гавриловичу Дубинде и представлял собой обычное парусное суденышко, которое могло взять на борт две тысячи пудов груза — тридцать с лишним тонн. Я хорошо помню его по более поздним годам, когда уже мальчишкой ходил под его парусами в Евпаторию, Херсон, Одессу, перевоза соль, арбузы, гравий... Хорошо написал про такие плавания Эдуард Багрицкий:

Пустынное солнце садится в рассол,
И выпихнут месяц волнами...
Свежак задувает!
Наотмашь!
Пошел!
Дубок, шевели парусами!
Густыми барашками море полно,
И трутся арбузы, и в трюме темно...

Только мы тут особой романтики не видели — на хлеб зарабатывали. Христофор Гаврилович был судовладельцем — это если говорить формально. Он же был шкипером, капитаном команды, а матросами и грузчиками с ним ходили мои старшие братья, мать, случилось, и сестры. Детей было десять душ, я родился последним, десятым. Это случилось в море, где-то неподалеку от Очакова. Так что мама — вахтенный матрос — уступила место на палубе одному из старших сыновей, а шкипер — отец — взялся исполнять роль повивальной бабки... На берег, в родную хату, меня привезли уже готового...

Когда слышу песню «С чего начинается Родина?...» — вспоминаю желтые, исходящие зноем пески, окруженные водой, островки высоких камышей, тяжелые хлопки парусов, развешанные для просушки рыбацкие сети... Старшего брата не помню. Он воевал в империалистическую, приходил в семнадцатом домой, мать говорила, что держал меня на руках... Потом ушел в Красную Армию и погиб где-то под Каховкой.

Лет с десяти я уже помогал отцу, ходил с разными грузами на том же дубке, на котором родился, а в четырнадцать начал самостоятельную жизнь — нанялся матросом на парусник «Любимец моря». Его водил известный на всем побережье человек Павел Софронович Горбаченко. Это был настоящий, большой учитель. Он штурмовал Зимний в семнадцатом году, не раз слушал выступления В. И. Ленина в Петрограде, а в январе восемнадцатого стал первым председателем ревкома в нашем селе... Потом Павел Софронович воевал на фронтах гражданской и после ее окончания снова вернулся в Прогной...

Не знаю, как делают другие люди, вспоминая свое житье-бытье, но моя биография будет непонятной, даже неверной, если не расскажу хоть немного про наше село. Там, где Днепр подходит к Черному морю, образуя широкий лиман с бесчисленными протоками, косами, островками, где на десятки километров растянулись камышовые заросли с несметными стаями диких уток, гусей, журавлей и прочей живности, есть на Кинбурнской косе многокилометровый участок песчаной пустыни с большими блюдцами озер. Их называют гнилыми, потому что безжизненные, соленые они.

Еще лет триста назад казаки добывали здесь соль, а после создания Новой Сечи основали свой пост, чтобы следить за передвижением

татар в Крыму и турок — в Очакове. Пост защищал запорожцев, которые приезжали за солью или рыбачили на лимане. Потом здесь возникла паланка Сечи и лишь в начале прошлого века — село Прогной. Оно никогда особенно не разрасталось, потому что условия для жизни были непривычными, а вернее сказать, не было таких условий. На песках ничего не росло, летом — зной, зимой — пронзительные сырые ветры. Пустыня. Когда уже в советские годы организовали первый колхоз, то поля ему выделили в... тридцати километрах от села!

Закреплялись тут люди отчаянные, цепкие, как пустынная колючка. Хаты строили из камыша и глины, работали на соляных промыслах. Каким нечеловеческим испытанием был этот труд, хорошо описал Максим Горький в рассказе «На соли». Он сам в этих местах работал. Некоторые рыбачили, да пользы от рыбалки выходило немного: где продавать улов, если до ближайшего базарчика на Голой пристани больше сорока километров? Довезти туда улов, беспрепятственно перекладывая паруса в узких протоках, — так и сама рыба того не стоит. Отдавали ее за бесценок скупщикам. Большинство же мальчишек нашего села уже лет с пятнадцати, а то и моложе, уходило матросами в Херсон, Одессу, Николаев, разбредались по всему побережью, становились отличными боцманами, шкиперами, в селе немало целых династий знаменитых капитанов, механиков, полярных и антарктических мореходов.

Первым во главе группы матросов ворвался в занятый гитлеровцами Севастополь мой односельчанин К. Г. Висовин. Он погиб 9 мая — за год до Дня Победы — и посмертно удостоен звания Героя Советского Союза.

Одним из легендарных защитников острова Ханко был тоже мой земляк Г. Я. Оводовский. Он прославился как командир дивизиона тральщиков, прорывал блокаду Ленинграда, а за блестяще проведенное разминирование Данцигской бухты стал Героем Советского Союза. Третий мой односельчанин, Н. Г. Танский, командовал подразделением торпедных катеров на Северном флоте, об его мужестве и военной дерзости ходили легенды — его тринадцатой боевой наградой в Великой Отечественной войне стала Золотая Звезда Героя.

Через много лет после войны херсонская областная газета посвятила несколько страниц героям нашего села, многим морским династиям. На эти публикации откликнулся маршал М. В. Захаров, бывший тогда начальником Генерального штаба наших Вооруженных Сил. Он писал: «Спасибо вам за то, что на вашей земле есть такое село Геройское, есть такие люди, жизнь которых — подвиг, пример для наследования».

Многое можно рассказать и о мирном героизме моих односельчан. Героями Социалистического Труда стали гарпунер китобойной

флотилии «Слава» Н. Н. Гниляк и капитан-директор рыболовецкого траулера В. В. Михасько, унаследовавший свою профессию от отца и деда... Я не могу назвать здесь многие десятки известных в стране людей из нашего села, которые отличились в годы революции, гражданской войны, трудное время мирного строительства. А жителей у нас всего-то, как сказал мне председатель сельсовета, шестьсот сорок душ... Это маленькое село в 1963 году переименовали: было Прогной, стало Геройским.

...Ничего особенного не было в том, что я в 14 лет стал матросом, а в 16 чувствовал себя на воде так же уверенно, как и на берегу. И когда в тридцать шестом меня призвали на службу — определили на прославленный крейсер «Червона Украина», сразу в боцманскую команду. Крейсер стоял в Севастополе, у заводской стенки, как многоэтажный стальной дом.

Но жили мы на берегу, в экипаже, и каждый день с утра до вечера висели у бортов судна, обивая ржавчину — сантиметр за сантиметром. Около года крейсер находился в ремонте. Особых впечатлений действительная служба не оставила: многое было знакомым, даже привычным, разве что жесткий, расписанный по минутам распорядок дня. Но для человека, привыкшего к труду, это не в тягость. Больше другого запомнились занятия спортом...

После обеда подходит катер, раздается команда: «Спортсмены, на тренировку!» Смотришь — один матросик сложил инструменты, другой... А остальные колупают ржавчину, грохочут в стальные борта — невеселое занятие. Мой кореш Юра Давыдов говорит: «Давай и мы запишемся в спортсмены». Вечером подошли к своему физоргу, записались в бегуны. Первое занятие совпало с общим забегом на десять километров. Взяли мы старт... Сначала все шло вроде нормально, а потом чувствуем: тут не легче, чем ржавчину обивать. Дальше Юра говорит: «Отстанем немного, а когда отдышимся — догоним». Только отставать легче, чем догонять. В общем, последние километры бежали мы на самолюбии, как в обмороке. На следующий день чувствуем, вроде нас сильно побили, все мышцы болят. По трапам еле ползаем, по палубе — и то за леера хватаемся.

Решили, что бег не для нас. А приятелю неймется. Недели через две говорит: «Запишемся на бокс». Записались. До обеда отработали, а потом нас привезли в спортзал, дали перчатки. Тренер показал, какие бывают удары, расставил возле подвешенных мешков, набитых чем-то тяжелым, и велел заниматься. Стучим. Неделью, другую... У тренера свои дела — занимается с опытными, у которых ожидается соревнования. Через месяц вспомнил о новичках, а нас десятка три было. Подошел на одном из занятий, вытянул руку: «В две шеренги — становись!» Я рядом находился, так что стал возле тренера. «Первая шеренга, два шага вперед! Кру-гом!»

Поворачиваюсь и вижу, что за моей спиной стоял, а теперь он напротив меня, верзила метра два росту. Руки, как оглобли, тельняшка едва локти закрывает. «Как же к нему подойти?» — думаю. А тренер командует: «Бой!» И не успев я набраться духу, мой партнер как двинет меня в скулу. Едва не упал. А он с другой стороны. Выровнял меня. Сам-то я физически не очень, средние, можно сказать, данные... А он меня прямым — в лоб. Я попятился, сел на пол. И такая злость взяла, что все приемы забыл. Всакиваю, да по-нашему, по-сельски — под дыхало ему. Он согнулся — уже и до головы достать можно. Мутузили мы друг друга от души. Выдохлись. Я ему носом в грудь уперся, а он меня за руки держит. Подошел тренер, посмотрел... «Молодцы, — говорит, — отлично поработали!»

После занятий смотрю на своего кореша Юру Давыдова — синяк под глазом, губа разбита и рот не на месте, перекошен. А это он, оказывается, так смеется, глядя на мою физиономию. У Давыдова шрам на губе до сих пор остался. Мы с ним иногда видимся, он в Херсоне живет... Тогда же, в тридцать шестом, решился я, что бокс тоже не для нас. Однако тренер меня уговорил. Вернулся я в секцию. Большим спортсменом не стал, но навыки, которые получил, очень пригодились в годы войны. В разведке это было, пожалуй, мое первое оружие.

Когда крейсер вышел из ремонта, назначили меня старшиной катера, а чин имел старшего матроса. Сутки дежурю со своей командой — кого на берег отвезти, кого с берега, а следующие сутки на палубе — в распоряжении главного боцмана. Также скучать не приходилось. Отрабатывали всякие действия на случай боя, пожара, возможных повреждений судна, ходили на БОУ — боевые отрядные учения, вели учебные стрельбы. В то время осваивали новое оружие — торпеду. Штука была, очевидно, дорогая, и после каждого выстрела я со своей командой должен был ее вылавливать и возвращать на судно. Боевого заряда в ней, конечно, не было. Один раз торпедисты что-то не рассчитали, и она выскочила на евпаторийский пляж, надела немало шума среди купающихся.

С годами нелегкой службы пришла матросская закалка, привилась железная дисциплина, которая поддерживалась совсем не страхом перед наказанием, а боязнью подвести товарища, вызвать недовольствие любимого командира. Я несколько не преувеличиваю. Главным воспитательным средством была добрая матросская «подначка». Да не дай бог если в твоём поведении товарищи увидят боязнь, жадность, скрытое желание что-то выгадать для себя... Одного ироничного замечания, острого словца, брошенного как бы между прочим, было достаточно, чтобы провинившийся умер от стыда и снова воскрес уже другим человеком...

Хорошо помню первый день войны, вернее, первую ночь, в Севастополе. Вечером 21 июня, в субботу, я заступил на вахту.

Работы было много: половина личного состава крейсера получила увольнение на берег. Корабль стоял на рейде, и моему катеру пришлось не раз ходить от борта к пристани, отвозя матросов и офицеров.

К 23.00, когда кончался срок увольнения для матросов, я уже всех переправил на корабль. Офицерам разрешалось остаться в городе до утра. Вахтенный мне сказал, что в час ноль-ноль надо подойти к причалу III Интернационала и забрать обход... В ту ночь матросы нашего крейсера дежурили в городе. Я скомандовал ребятам отдать концы, отчалил от высокого борта «Червоной Украины» и пошел в город. Пересекли бухту и вышли к набережной чуть раньше положенного. Оно понятно — последний рейс...

Стоим у причала, ждем наших с обхода. И вдруг бежит к нам человек, в ночном городе гулко раздается топот сапог. И к нам: «Кто старший?» «Старшина катера Дубинда», — отвечаю. «Заводи, — говорит, — свою фелюгу и перебрось меня через Северную бухту. Срочно!» Я поясняю, что жду своих людей из обхода. «Ты что, — спрашивает, — устав не знаешь? Выполняй последнее приказание старшего!» И сует мне под нос офицерское удостоверение личности. Летчик, из начальства. Не помню уже, в каком чине. «Над Качей, — говорит, — несколько минут назад наши сбили чужой самолет. Еще неизвестно, чей он. Мне надо быть там немедленно». А в Каче тогда были аэродром и прославленная школа летчиков. Ну, я его на борт и пошел через бухту. Он выпрыгнул едва мы приблизились к причалу.

Возвращаемся — наши из обхода уже стоят на набережной. Забрали их и пошли. Вдруг над нашими головами прожекторы расписали все небо полосами. Один из лучей осветил самолет — не высоко, над бухтой, и скорость не очень большая. Тут и другие прожекторы скрестили на нем свои лучи, ведут его по небу прямо на Севастополь. Тихо вокруг, лишь самолет рокочет. Вдруг отделяется от него что-то, раскрывается парашют, ветерок несет его на город, а прожекторы сопровождают, чуть ли не до самой земли. Опускается парашют на одну из улиц, и мы видим багровую вспышку вполнеба, а потом доносится страшный взрыв. На парашюте была сброшена магнитная мина.

Когда мы подошли к кораблю, вдоль борта выстроились вестовые, готовые бежать в город, разыскивать офицеров, отпущенных до утра. Высадили обход, забрали вестовых... Часам к трем ночи вся команда была на борту. А утром из выступления В. М. Молотова мы узнали, что началась война.

В первые месяцы войны в Севастополе было относительно спокойно. Атаковать его с моря враг не решался, налеты авиации отражали корабельные и береговые зенитки. Мы патрулировали на улицах. Во время воздушной тревоги для нас начиналась работа: в городе оказались вражеские лазутчики, которые подавали сигналы

фашистским самолетам. Был приказ — стрелять по огням после объявления воздушной тревоги.

В конце августа — начале сентября все с напряжением следили за боями под Одессой. На помощь ей ушли некоторые суда. Особенно сложное положение создалось, когда противник прорвался к перешейку между Куяльницким лиманом и побережьем, установил там тяжелую артиллерию. Она терроризировала город и вела огонь по кораблям, которые подходили к Одесскому порту.

К тому времени наш катер вместе с командой перебросили на крейсер «Красный Крым». Готовилась большая операция. В ночь на 22 сентября отряд кораблей — два крейсера и два эсминца — покинул Севастополь. Командир отряда контр-адмирал С. Г. Горшков вдруг вызвал к себе всех старшин катеров, и меня в том числе. Выстроились мы — человек до двадцати набралось. Он прошелся перед строем — молодой, крепкий, тридцатилетний контр-адмирал! Если учесть, что у нас была кичливая поговорка: «Морской кок выше сухопутного полковника», — можно понять, с каким восхищением смотрели мы на командира. Позже мне довелось на собственной шкуре испытать те немалые тяготы, что легли на плечи пехоты, однако морские амбиции моих товарищей были только на пользу общему делу.

Контр-адмирал рассказал нам о сложившейся под Одессой обстановке, о том, что мы должны высадить в районе Григорьевки десант, цель которого — захватить артиллерийские позиции врага возле Дофиновки. Сказал несколько слов о нашей особой ответственности и спросил:

— Есть вопросы?

— Разрешите! — вырвалось у меня.

— Слушаю.

— Я хочу пойти первым.

Он с интересом посмотрел на меня и спросил, с чего это вдруг я добиваюсь такой чести? Стараясь быть кратким, объяснил:

— Я до службы ходил тут на парусниках... Восемь лет. Каждый камень на берегу знаю.

— Хорошо, пойдешь один, с передовым отрядом. По твоему сигналу, если высадка пройдет благополучно, отправится весь десант.

Около часу ночи мы вышли на траверз Григорьевки напротив Аджалыкского лимана. Ко мне в катер погрузилось 82 человека во главе с капитан-лейтенантом, и мы отчалили. Корабли открыли сильный огонь по вражеским позициям на берегу. Снаряды обгоняли нас. Сам маневр для меня сложности не представлял, даже в полной темноте нашел бы, где причалить, а тут такой фейерверк. Шли на большой скорости. Ближе к берегу стали стрелять и по нам. Один снаряд взорвался почти под катером, на береговой отмели, подняв и обрушив на нас стену грязи. С ходу высочили днищем на отлогий берег. Десантники, закусив кончики лент бескозырок, валились с бортов — и в темноту...

Тут же даю задний ход — и ни с места. Слишком далеко выскочил на песок. Кричу капитан-лейтенанту (он спрыгнул первым и наблюдал за высадкой), чтобы вернул десяток братишек... Вернулись, столкнули катер на воду, и тогда я выстрелил в небо зеленой ракетой. Это означало, что передовой отряд высадился успешно, можно бросать основные силы.

Когда возвращался, навстречу мчались катера, неся на себе около двух тысяч десантников. Используя их успех, из Одессы начали наступление войска Приморской армии. Противник отступил, потеряв много солдат и около 50 орудий и минометов... В «Советской военной энциклопедии» сказано, что «этот контрудар явился первым примером успешного взаимодействия сухопутных войск с морским десантом и авиацией флота на Черном море в годы Великой Отечественной войны».

Когда мы вернулись к борту «Красного Крыма», мне вахтенный командует:

— Дубинда, тебе приказано вернуться к берегу, подобрать раненых и идти в Одессу, к Фонтанскому маяку.

В Одессе приказ: нашему катеру идти на Кинбурнскую косу. Туда, в безнадежный для сухопутного человека тупик, вышла одна из наших отступающих частей. Пришлось перевозить солдат несколькоми рейсами на Тендровскую косу, а позже — снимать с Тендровской косы группу подрывников... Все эти походы и переходы вдоль занятого врагом побережья, под обстрелом, на нерве. Использовали темное время суток, пускались в всякие хитрости.

Да и в самом Севастополе у моряков много было хлопот. Корабельная артиллерия вела огонь по наступающим гитлеровцам, отбивала вражеские атаки с воздуха. Тонная бомба попала в наш крейсер «Червона Украина», когда он стоял у причала, — прямо в левые машины. Едва начались аварийные работы (я был в аварийной команде), одни кинулись тушить пожар, другие — убирать убитых и раненых, как вторая бомба — стервятник успел сделать второй заход — упала в воду рядом с бортом, по центру корабля. У пристани было мелко, и взрыв огромной силы переломил крейсер надвое. Кормовая часть села днищем на грунт... Несколько дней мы снимали с него орудия, переправляли их на позиции защитников города. Но однажды ночью эта часть корабля с находившимися во внутренних помещениях ребятами из аварийной команды опрокинулась. Почти все, кто там был, погибли.

Меня зачислили в 8-ю бригаду морской пехоты, которая вела тяжелые бои на Мекензиевых горах. Стал артиллеристом. В этом деле я, конечно, мало что понимал, был одним из номеров — подносил снаряды, заряжал. Работал как все. Люди погибали, приходилось на ходу заменять разные номера. Из этих боев я многого не помню, потому что весной, когда меня отозвали в аварийную бригаду, был

тяжело контужен. Это случилось на Северной стороне, мина тяжелого калибра вздыбила совсем рядом со мной стену земли и осколков, а меня достала «только» взрывная волна... Я потерял речь, оглох и многое навсегда стерлось в памяти.

Корешу ухаживали за мной, делали все, что могли в тех условиях, но в транспорт, который увозил раненых, я так и не попал. Когда фашисты ворвались в город, товарищи помогали мне идти, а где и просто тащили, отступая в Камышовую бухту. Тысячи и тысячи последних защитников города, уже без тяжелого оружия, с одним патроном на двоих, оберегая раненых, а их было очень много, все надеялись, что придут транспорты, вывезут... Но корабли так и не смогли к нам прорваться, а подводные лодки (сколько их там было?) вывели разве что одного из сотни. Мы не бежали из города, а согласно приказу отходили в эти места, где ни укрыться, ни организовать оборону...

Почему это вспомнилось: вскоре после войны, когда я пришел домой со Звездой Героя и орденами Славы, в нашем Голопристанском райкоме один товарищ заявил на бюро, что там, в Камышовой бухте, я обязан был застрелиться. А поскольку не сделал этого, попал в плен,— значит не имею права быть в партии. Суть этого человека я понял: он вскоре проворовался. Непонятно другое: почему тогда не нашлось в бюро такого, кто возразил бы ему?..

На нас, беспомощную толпу, вышли немецкие танки... О той трагедии в Камышовой, Казачьей бухтах, на мысе Херсонесе когда-нибудь напишут. Меня спасло то, что был в рабочей робе аварийной бригады, а не в морской форме. С моряками, особенно севастопольцами, гитлеровцы расправлялись жестоко. Многие матросы, как бы предчувствуя такое, заходили в воду и стрелялись.

Колонну военнопленных пригнали в Симферополь. Ребята меня буквально доволокли. Говорил я еще плохо, но уже слышал. Лагерь для военнопленных представлял собой большую площадку, которую пересекал ручей, огорожа из колючей проволоки, по углам — вышки с пулеметами. Внутри известкой были размечены двухметровой ширины полосы, которые пересекались, разделяли площадку на более мелкие квадраты. Люди стояли и сидели в квадратах, как на шахматной доске, не имея права ступить за отмеченную известкой черту. Для нашей кормежки привозили какую-то дерть, тут же из ручья брали воду и делали болтушку. Сырую, конечно. Преимущество были у того, кто имел котелок, а у кого не было — хоть пригоршню подставляй. Я, к счастью, отыскал совершенно сплюсненную консервную банку и за день кропотливой работы с помощью двух камешков сделал из нее подобие миски.

Скучность была ужасная. Находишься под открытым небом, а лечь, вытянуться невозможно, если кто-то вылезет за белую черту, может поплатиться жизнью. Гитлеровцы были мастерами на такого

рода выдумки. Помню, однажды на дорожку, очерченную белыми полосами, вышел немецкий офицер в сопровождении нескольких «шестерок» — полицаев из охраны. Красивый мужчина, ничего не скажешь! Высокий, стройный, лицо суровое, открытое, и взгляд такой, что прошивает тебя до самого доньшка. Расхаживает он между квадратами и говорит:

— Кто из вас выдаст коммуниста или еврея, тот свободно выйдет отсюда с необходимыми документами и может ехать домой. Если ваш дом еще на территории большевиков — ждать осталось недолго, наши войска уже подошли к Волге.

Ходит между квадратами, всматривается в наши лица, повторяет на все лады свои условия. И вдруг крик: «Я! Я покажу!» Выбирается на дорожку такой... даже сказать затрудняюсь, просто никакой человек, то есть ничем не приметный, и говорит, что видел где-то тут в лагере писаря из своей роты, который, по его сведениям, еврей.

Стали искать. Долго искали в квадратах — нашли. И вся свита удалась. А часа через два приходят, и офицер заявляет всем:

— Германии нужны те, кто ей служит верно. Победителей нельзя обманывать. А этот человек, — он показал на предателя, — обманул нас.

Дает в руки тому, которого выдали, дубинку и говорит:

— Бей его. Он хотел отправить тебя на виселицу, чтобы вырваться из лагеря и вредить Германии.

А выданный, который уже мог бы болтаться на веревке, стоит с чужой дубинкой в руках и не решается.

— Бей, — говорит этот породистый офицер, — а то я отдам дубинку ему. Уж он тебя жалеть не станет.

Ну тот и давай молотить предателя своего, пока он не упал на дорожке. К нему никто не прикасался, ни наши, ни немцы — там и умер дня через два.

Потом этот же офицер выискивал тех, кто знает подходы к Новороссийску, кто смог бы дать подробные пояснения к военным картам. Среди тысяч пленных нашлись и такие. Их увели, а через несколько часов, изрядно помятых, привели назад и рассовали по квадратам, где им еще и свои «добавили». Оказывается, они не знали того, что было необходимо гитлеровцам.

...Я никогда бы не стал вспоминать эти тяжелые, унижительные сцены, где рядом с истинной трагедией разыгрывалась своего рода дешевка — горькая и грязная. Но тут все связано с красавцем офицером. (Не знаю, возможно, что с точки зрения женщины он и не был идеальной наружности, потому что меньше всего походил на прилизанного красавчика, но с моей точки зрения это был редкостный экземпляр властного и сильного мужчины). Тогда я скорее поверил бы в близкий конец света, чем в то, что через два с половиной года снова, лицом к лицу, встречаюсь с немецким офицером из симферопольского

лагеря, и не где-нибудь, а в Москве, неподалеку от Арбатской площади.

Но до новой встречи с ним произошло столько невероятных событий, что их хватило бы не на одну жизнь.

II

Большую группу военнопленных перевели из симферопольского лагеря в Николаев. Гитлеровцы пытались наладить работу судостроительного завода. Мы растаскивали развалины, покореженные бомбами фермы цехов. Ни я, ни ребята из моей команды и виду не подавали, что хорошо знакомы с морем, с аварийными судовыми работами. А потому таскали мусор, ходили на погрузку материалов. Меня устроили при кухне: дров нарубить, печь растопить, котлы почистить. Я еще не совсем отошел от контузии.

Поварихой была тетя Дуся Часовская — вольнонаемная, не из пленных. Она варила нам баланду, переживала с нами все невзгоды и старалась помогать, чем могла. Рядом с нею работала Мария Фролова. Женщины решили помочь мне вырваться из плена... Для этого надо было, чтобы я хоть немного окреп. Когда это произошло, они раздобыли мне документы на имя Семенкина Ивана Петровича, уроженца города Николаева, который работает в одной из организаций, разрешенных германским командованием... Документ был надежный, но как выйти за пределы лагеря? Больше года пробыл я в нем и многое успел повидать, многому успел научиться... Охрана тут следила строго и нарушителей режима тут же расстреливала.

В начале 1944 года меня познакомили с шофером, который имел право въезда на территорию лагеря, — Димой Куликовым. Он оказался подпольщиком и однажды вывез меня на своей машине в город.

Тетя Дуся жила возле элеватора, и первое время после побега я скрывался у нее, присматривался к тому, что происходит в порту, какие ходят суда, кто их водит... Однажды я сказал своим спасителям: «Пора!» — и понесло меня, как в сказке или в заключенческом кино. Прежде всего еще по дороге к порту дважды останавливали патрули, проверяли документы, но удостоверение Ивана Петровича срабатывало без осечки.

План был такой: устроиться на судно и, когда оно окажется в устье Днепра на выходе в море (а такое рано или поздно должно было случиться, суда регулярно ходили в Очаков, Одессу и устье Дуная), украсть лодку и бежать по знакомым с детства плавням.

Подхожу к порту и вижу, что у причала стоит баржа. С нее прямо с борта на причальную стенку выпрыгивает здоровый мужчина с двумя чемоданами.

— Эй, браток, — говорю я ему, — где старшина этой посуды?

— Я старшина, — отвечает, — чего тебе надо?

А я вижу, баржа отшвартовалась с верховой, наверняка будет идти к морю.

— Можно с вами до Очакова добраться?

— Пассажиров не берем.

— А я помогать буду.

— Умеешь?

— Умею...

Он тогда ставит чемоданы на землю, вытаскивает из кармана связку ключей и бросает их мне:

— На́ ключи. Это от кубрика, рундучка... Разберешься. Если хочешь есть — там найдешь. Можешь брать сигареты, пиво... Я сейчас вернусь.

Спрыгнул я на борт баржи, первым делом обошел ее всю, хозяйским глазом осмотрел помещения. Заглянул в трюм — там полно цветного металлолома. В Румынию тащат. Но вот досада: ни шлюпки, ни даже ялика нету на борту! Вылез на палубу — подходит к причалу какой-то человек.

— Возьми,— просит,— до Очакова.

— Садись,— отвечаю. Ведь полчаса назад точно так же сам присял. Но об этом молчу.

Навалились мы вдвоем на припасы, оставленные настоящим хозяином, а потом стали ждать его. Долго бы ждали. Не знал я, что он с чемоданами попросту сбежал, оставив меня как посадную утку...

Подъезжает машина, из нее выбираются военные, я насчитал восемнадцать человек, в основном офицеры, с ними четыре женщины. Все перебираются на мою баржу. Ну, думаю, влип! Однако виду не подаю. Заглядывают ко мне в рубку. Напускаю на себя строгость и показываю, чтобы все шли в носовой кубрик и не мешали. Послушались, ушли. Затаился я — все еще жду настоящего хозяина. Вижу — бежит к нам буксирный катер. Подбирается прямо к борту, и какой-то чужак с катера спрашивает у меня:

— Трос буксирный есть?

— Нету,— отвечаю, потому что успел проверить.

— Тогда,— говорит,— я свой перекину. Закрепи. Сначала пойдем на коротком, а за Балабановской косой вытравим подлиннее.

Цепляет нашу баржу — ту-ту! — и поехали. Я занимаю свое место на руле, вроде бы так все и надо. Идем мы вниз по Бугскому лиману, к морю идем. Вояки там в кубрике развлекаются, нас не трогают.

— Вы давно на барже работаете? — спрашивает мой приبلудный пассажир.

— Чуть раньше тебя оформился,— отвечаю.

— А сколько получаете? — допытывается он.

— Когда немцы узнают, кто мы такие,— одинаково получим.

Меня еще не так просто разоблачить, я на барже как дома, а его же видно, что случайный тут.

Бежит наш буксир, пыхтит уже скоро Бугский лиман закончится. В то время, в марте сорок четвертого, наши в низовьях Днепра уже стояли на левом берегу, а правый берег — Херсон, Очаков — был в руках немцев.

— Как выйдем в Днепроовский лиман,— говорю я своему пассажиру,— так наши стрелять начнут. Надо воспользоваться суматохой и улизнуть. Жаль, что лодки нет на барже, но я трап приготовил. Спихнем в воду и доплывем на нем...

Стемнело. Стали мы подходить к Аджигойской косе — прожектор с левого берега полоснул по нашему буксиру. Потом еще два прожектора уперлись в него, начался орудийный обстрел. Должно быть, снарядом перебило буксирный трос. Катер — пых-пых! — бросил нас и бегом к Очакову (его наши уже перед Очаковым потопили). А про баржу вроде бы и забыли. Немцы вылезли из кубрика злые, перепуганные, всматриваются в темноту. А что смотреть? Кругом вода, и никакого движения. Но и нам с пассажиром бежать нельзя. Часов около трех ночи пришел из Николаева другой буксир и оттащил нас в Очаков. А там полно румын и немцев.

Ошвартовались мы у стенки. Днем пришел какой-то чиновник, сказал, что завтра или даже сегодня ночью, если будет буксирный катер, потащат нас в устье Дуная. Мне уже это совсем ни к чему. Присматриваюсь. Вижу, рядом баржа и на ней шлюпка. Я — туда. Познакомился с боцманом. Худосочный такой, пугливый. «Продай шлюпку!» — прошу. Боится. «Немцы узнают, тут же утопят». Тогда предлагаю: «Бежим вместе!» Мнется, говорит, что у него недавно родился ребенок, жена тут же, на барже, и вообще деваться ему некуда, куда повезут, туда и повезут... Осерчал я.

— Дуб,— говорю,— ты мореный. Если ты здесь не очень нужен, то там, в чужом краю, и подавно. Ведь к черту в пасть везут тебя. А ну веди к своей жинке, хочу с ней поговорить.

Женщина всего боится, у нее дите грудное, она даже смотрит мимо, вроде смотреть на меня — уже преступление. С большим трудом уговорил.

Ночью обманул я румынского часового на пристани, спустил шлюпку на воду, сам сел на весла. Женщина легла на дно лодки и голову поднять боится, все ждала, что стрелять начнут. Ее муж держит ребенка, я гребу, а мой пассажир только свысока на всех поглядывает. То, что ночью, на шлюпке,— для меня нет проблемы. Только грести трудно. По хорошему тут, на веслах, четверым надо сидеть, да и шестерым можно. А я один. Предлагаю своему пассажиру с баржи — помоги, мол. А он не может.

— Что же,— говорю,— ты умеешь?

— Ничего не умею,— отвечает,— я агроном.

Устал изрядно, чувствую, что уже на последних оборотах... И вдруг из тьмы:

— Стой, стрелять буду!

— Погоди,— кричу,— успеешь выстрелить! Мы перебежчики из Очакова.

Тут же на берегу нас арестовали, отвели в штаб части, а оттуда передали в «Смерш». Худосочного боцмана с женой и ребенком сразу отпустили. Он белобилетчиком оказался, ни к какой службе непригодный. Меня с агрономом разлучили и повезли в Херсон.

Город только накануне освободили от фашистов. В военкомат пришел в сопровождении товарища из контрразведки, у него еще были сомнения насчет меня... Военком же повел себя более решительно. Узнав, кто я и что я, тут же назначил старшим команды.

Отступая, гитлеровцы разрушали железнодорожное полотно. От Херсона до ближайшей действующей станции надо было трое суток добираться пешком. Военкомат формировал в освобожденных районах команды новобранцев и тут же отправлял на пополнение наступающих частей. Мне дали списки человек на двести новобранцев, дали помощника, вроде комиссара, и приказали вести всю команду на станцию.

Отшли мы немного от военкомата, выстроил я людей... Они еще не обмундированы, только сухой паек на три дня получили. Сделал переключку и... страшно мне стало. Кругом весна, грязь, бездорожье. Кругом разруха. А всех переправочных средств у меня, как и у каждого, только две ноги. Как же идти в трехсуточный поход такой оравой?

Тут меня хорошие люди надоумили.

— Вот что,— говорю,— братишки. Топайте каждый сам по себе. А через три дня на станции переключка. Кого не окажется в наличии — значит, дезертир со всеми, так сказать, последствиями и выводами. Р-разойдись!

Двинули они прежде всего по ближайшим селам: кто с мамой проститься, кто с невестой. А мы с комиссаром — пешком на станцию. В каком-то селе ночевали. К полудню третьего дня пришли. Смотрим — человек десять наших всего тут. Переживаю: растерял команду... Потом по двое, по трое стали подходить еще. Вечером построил, сделал переключку — все! До единого человека пришли в срок! А тут уже и вагоны подали, появились представители частей. И повезли нас в Белоруссию.

Прибыли ночью. Кинули нас на пополнение наступающей дивизии — 96-й стрелковой, гвардейской. Комбат построил всех, разделил на большие группы, командует:

— Старослужащие, два шага вперед!

Человек пять нашлось таких в нашей группе. Я тоже, конечно, вышел. Комбат спрашивает, кто кем служил. Меня тут же назначил командиром взвода. Дорогой нас обмундировали, у меня были погоны рядового.

— Ничего,— говорит,— воюют не погонами. Командиры отделений списки бойцов составят, а ты иди на рекогносцировку.

Вышел я с офицерами к переднему краю обороны. Ночь, темно, на фоне неба у горизонта видны крылья мельницы.

— На рассвете,— говорит мне командир роты (это был Гена Дубенков, мы потом с ним дружили),— твой взвод будет наступать на эту мельницу. Там деревушка возле нее. Поднимай людей сразу после артподготовки.

Вот так и наступал, еще не зная, кого веду за собой. Артналет был недолгим, минут двадцать, но били плотно, а в конце даже «катюши» сыграли. Мы сразу: «Ура!» — и через поле. Справа и слева от нас тоже наступают. Мельница горит. Ворвались в траншею, а потом вышибли немцев из деревеньки. Меня начальство похвалило. Стал я со своим взводом знакомиться...

Вскоре назначили меня командиром взвода разведки полка. Я ведь оставался рядовым, а там людей поменьше хотя, конечно, каждый пятерых стоит. Наш 293-й гвардейский стрелковый полк был тогда в Пинских болотах. Справа и слева наши соседи видят передний край врага, а перед нами никого, непроходимые топи, да вдоль них жиденькая линия траншей. И вызывает меня командир полка Александр Андреевич Свиридов (сейчас генерал-лейтенант, Герой Советского Союза). Он любил, минуя другие инстанции, сразу выходить на исполнителя:

— Дубинда, надо добыть «языка».

Я, конечно, понимаю, что сам «язык» — дело десятое, а вот как на ту сторону перебраться? Не идти же на соседний участок фронта! Стал я со своими разведчиками лазить по болоту. Вымокли, вымазались, как черти, наглотались ржавой воды. Уже и счет потеряли, сколько раз друг друга чуть ли не за вихры вытаскивали. Нет хода! Сверху и травка и кочки, а ступить невозможно. Пробовали ползти — ладошки проваливаются, и носом в жижу тычешься. Тогда лег я и перекатом, как чурбанок, покатился. Вода в уши и в нос попадает, но не проваливаешься! Докатился до островка, поросшего ольхой, посидел — и опять перекатом до следующего. Ребята — за мной. А там уже кочки пошли потверже, островки почаше...

Перебрались, отсиделись до темноты в кустах, а ночью вышли к вражеским позициям. Видим, на сухом бугре, неподалеку один от другого — четыре блиндажа. Часовой ходит между ними. Во взводе у меня был разведчик по кличке Шлёма — бесшабашный и озорной парень. Я ему приказываю:

— Пора сменить часового.

Он все понял и пополз. А часовой то ближе к нам подойдет, то за блиндаж уходит. Потом появляется... несколько располневший. Это уже Шлёма в его каске и плащ-палатке, с винтовкой на плече

расхаживает, знаки нам подает. Подбежали, я расставил ребят возле каждого блиндажа, чтобы кто случайно не вышел, а сам в один из них распахиваю двери: автомат наготове, в левой руке граната. Там сидел офицер ипил в одиночку. Схватился он за оружие, но поздно.

Тут главная трудность, как его тащить через болото. Мешок на голову не накинешь, кляп в рот не заешь — на болоте опасно, разок макнешь его, и уже труп, а не «язык». Он тоже опасность понимает, помалкивает. Отыскали большую ветку. К ветвям потоньше привязали пленного за руки и за ноги и комлем вперед потащили... Там, где сами преодолевали болото перекатом, ветку с немцем за веревку перетаскивали.

Сдали мы пленного, сидим, пьем чай, сушимся, отмываемся от болотной грязи. Надо же — меня вызывает командир полка.

— Ты что это напутал, Дубинда? Я по вашим следам послал... Батальон тонет! Немедленно уточни место прохода!

Прихожу, а в болоте солдатики копошатся, друг друга вытаскивают. Разозлился. «Что же, — говорю, — вы дорогу портите? Размеси тут все... Ведь объяснял: перекатом. Самым натуральным образом — боком катись!» Отошел в сторонку, где поверхность еще не расквашена, и покатился. Солдаты за мной. А комбат уже не отпускает: веди до конца. Деваться некуда. Вывел весь батальон к четырем блиндажам. Там оказались раненые немцы — это уже было известно от пленного. Нашего прохода в том месте противник не ожидал, поэтому батальон успешно пошел вперед, облегчая задачу наступающим нашим соседям.

Странное дело: вспоминаются чаще всего удачные, хитроумно проведенные операции. А ведь были и тяжелые. Правда, мне в них везло. Помню, в одном из боев несколько разрывных пуль начисто испортили мой полшубок. Ключья шерсти торчали на плече, под мышкой, почти оторвало полу, а меня самого даже не задело. Цели того боя, обстоятельства, результаты — ничего не помню! Вот полшубок было жалко — отлично запомнилось.

Тяжелые бои шли под Варшавой. Стояли мы перед Бугом. Вызывает командир полка: «Дубинда, надо отыскать брод через Буг для возможной переправы пехоты!» Что в таких случаях? «Слушаюсь!» Взял своих ребят, и давай мы в холодной воде купаться. Я сам речник, лазаю днем вдоль берега, определяю, где может быть помельче, а ночью идем к тем местам, которые высмотрел, и начинаются:

— Прасолов — давай ты!

Раздевается мой Саша Прасолов, при «плюс трех градусах жары» лезет в воду, идет к тому берегу и... буль-буль! Плывет обратно. Глубоко. (Кстати, А. П. Прасолов и сейчас живет в Николаеве, приезжал ко мне в гости).

В другом месте:

— Яцкевич — ты!

Лезет Коля Яцкевич. За ним — Соколов... А брода все нет. Ночь купаемся — Мацеста! Вторую купаемся... и на рассвете ловим поляка-перебегчика с той стороны! Он нам что-то лопочет, захлебываясь, о своем горе. По отдельным словам понимаю, что дочку его гитлеровцы обидели, но (жесткая правда войны!) нас другое интересует: где он речку перебрел? Он, бедолага, все интересуется, отомстят ли паны русские за его дочь? А я ему — за тем, мол, и пришли. Ты брод покажи!

Показал. Я с ребятами сам несколько раз туда-сюда прошел, вода по грудь, не больше. Определили ширину брода, насыпали на берегу едва заметные бугорки — для приметы. Но командир полка, не желая, очевидно, повторять опыт Пинских болот, говорит мне:

— Правую роту на прорыв поведешь ты сам.

Пришел я в роту. Заняли мы исходные позиции недалеко от брода. Паш берег пологий, а там повыше, по нему траншеи, за ними — поле и вдаль деревенька просматривается. Между нею и крутым бережком все гладко, как на столе... Время начала наступления нам не сообщили. Всю ночь просидели мы на исходных позициях, не смыкая глаз. И только утром, когда уже было светло, заговорила наша артиллерия. Молотила хорошо. Тем, кто на той стороне, не позавидуешь...

Едва наши перенесли огонь чуть дальше, я вскочил: «За Родину! За Сталина!» — и прыгнул в воду. Добежал уже до середины речки, оглянулся — а за мною всего несколько душ. Потом пересчитал — семь человек побежали за мной, я восьмой. Остальные не сразу решились. Забоялись ребята, как чувствовали, что этот бой для них — последний. А ведь мог и не быть последним!

Я такие ситуации знаю: пан или пропал. Жму вперед. На нашем берегу комсорг роты наконец поднял людей. Но получилось отставание. Над головами бьет с берега пулемет. А по нему — наши из пушки. Слабая, думаю, была пушчонка. Может, сорокапятка... Обслугу разметала, а пулемет цел.

Мы ворвались в немецкую траншею, полузасыпанную, гранатами и автоматными очередями расчищаем ее, гитлеровцы дрогнули, а комсорг с остальными только на середине реки. И тут летят немецкие снаряды — все в речку. Вода начинает кипеть и становится розовой. И ни один из ребят не выходит к нам. У немцев это место было заранее пристреляно, они-то знали, что тут единственный брод на многокилометровом участке. Били точно...

Мы сидим в траншее на высоком берегу, захватили вражеский пулемет, много патронов к нему, да и у самих боезапас неистраченный. Когда гитлеровцы очухались, пошли в наступление на нас — со стороны деревеньки. Наверняка не думали, что тут всего восемь человек. Мы первую атаку отбили, минометчики наши помогли — им все поле между деревенькой и нами хорошо было видеть.

После этого снова с нашей стороны солдаты кинулись вброд. Дружно кинулись, большими силами. И немедленно прилетели вражеские снаряды, как сеть, накрыли всю речку, запенилась вода... Были солдаты — и нету солдат. Которые вошли в речку, все там и остались.

А против нас гитлеровцы двинули шесть танков. Вышли они из деревеньки и на полной скорости прут к берегу. Тут уж, видно, крепко осерчали наши артиллеристы — открыли такой огонь, что за несколько минут подожгли эти танки, не дошли они до захваченной нами траншеи.

Тяжело это рассказывать. Три дня никто не мог к нам прорваться через брод. Сколько там ребят полегло — и все на наших глазах. Гитлеровцы, должно быть, поняли, что в траншее нас немного. Пустили два танка: один по лощинке, другой вдоль берега. Один наши артиллеристы сожгли, а другой прорвался. У меня даже противотанковых гранат не было. Прет это чудовище на траншею, вот сейчас одной гусеницей пройдет — и никого не останется, как от тех, кто в речке.

У кого-то из ребят оказалась единственная бутылка с горючей смесью. Я ее схватил, выпрыгнул из траншеи и скатился в такое блюдце на прибрежном откосе — ямку, заросшую осокой. А танк уже рядом, обдал меня выхлопом и уходит... на ребят. Тут я подхватился и по моторной группе бутылкой. Стекло вдребезги, черный дым... И с таким тяжелым выдохом как пыхнет! Стали выскакивать из него танкисты, бегут мимо, а у меня даже пистолета нет, автомат в траншее оставил.

Три дня так продержались, на четвертый в ночь прорвались к нам человек двадцать во главе с лейтенантом. С ними девушка-телефонистка. Все из чужого полка. наших, оказывается, еще вчера сняли, перебросили южнее, а сюда другая часть вышла. Лейтенант сразу говорит: «Будем атаковать деревеньку. Ты тут давно сидишь, расскажи моим, что к чему...» Пошел я по траншее. И вдруг бежит телефонистка. «Товарищ старший! (Погоны на мне солдатские, она не знает, как и обратиться). Товарищ старший, лейтенанта убило!»

Вот те на! Я тут трое суток, а он и пяти минут не побыл. Подхожу — мертв уже лейтенант. Телефон затрещал, девушка протягивает мне трубку. Какой-то полковник с той стороны командует: «Бери пришедших и своих — чтобы через час был в деревеньке». Зло меня взяло. «Явился, не запылится», — думаю. Отвечаю, что людей тут нету и трех десятков — не получится атака. «Застрелю!» — кричит в трубку. Я ему в том же духе: «А ты сюда приходи, тогда застрелишь!»

Лышу, бушует он там. «Я, — говорит, — постараюсь прийти... а сейчас отвечай, деревеньку видишь из траншеи?» Оно хоть и ночь, но силуэты видны вдаль. «Смотри, — кричит он в трубку, — куда снаряд упадет». Пролетел над нами снаряд и, вижу, шлепнулся далеко за

деревней. «Перелет», — говорю. Летит и падает второй. «Теперь, — говорю в трубку, — надо брать левее». Наконец положили они один снаряд точно на деревеньку. «Стоп! — кричу. — В точку попали». Тогда они такой огонь открыли, что размели деревеньку и все, что там было, как городошные фигурки. Этот злой полковник понял, должно быть, что огонь по броду вели оттуда, да и корректировщик или наблюдатель вражеский там где-то сидел.

После такого артналета мы, конечно, «Ура!» — и вперед. Захватили деревеньку День пробыли в ней, а ночью нас немцы выбили... Лишь в конце четвертых суток началось наступление, и деревушку заняли прочно, на эту сторону прорвались наши части. С тем полковником встретиться не пришлось. Из штаба нашего полка прислали парня, и он увез меня и тех ребят, что первыми прошли по броду.

Вскоре после этого боя мне вручили ордена Славы сразу третьей и второй степени. Представляли к наградам давно, на третью раньше, на вторую позже, но где-то по пути от фронта до Москвы наградные бумаги встретились, или от Москвы до фронта встретились коробочки с моими орденами. Надел я их — приятно, конечно. С неделю поносил — привык. А в первом же бою потерял. Застежки были неважные. И, если честно признаться, не очень сожалел о потере, не до того было.

Я уже тогда не помнил, за какой бой, за какое дело наградили одним, за какое — другим. Сколько их после того было! Каждый новый бой, каждая походка за линию фронта заслонял собой старые события. Полковая разведка, да еще в таком огромном наступлении, не оставалась без дела. Это одно. А второе — у нас была своя оценка трудностей, у начальства — своя. Случалось, с таким трудом добудешь «языка», а он окажется всего лишь бестолковым ездовым. В другой же раз без особых хлопот приволокешь штабиста! Ведь тащишь — и в прямом и в переносном смысле — kota в мешке. Однажды мы пошли за «языком», а привели с той стороны... тридцать немцев во главе с офицерами. Начальство расценило это как подвиг, а нам просто повезло: немцы сами подумывали о том, чтобы сложить оружие, но не знали, как это сделать. Появление десятка разведчиков лишь помогло им осуществить свой план.

Побывал я и в офицерском звании. Но, правда, недолго.

III

...Весной сорок пятого, в Восточной Пруссии, мой взвод полковой разведки получил одну из редких передышек. Начало марта, первое солнышко... Расположились мы на опушке — блаженствуем. Одни байки травят, другие дремлют, чуть ли не мурлыча от удовольствия. Был у нас немецкий пулемет, я затвор из него вытащил, бросил

рядом — на всякий случай. Какой ты разведчик, если не готов к непредвиденному?

Смотрю — глазам не верю: идет свита во главе с генерал-полковником! Не к нам идут, но рядом. Наш командир полка в этой свите почти младший. Куда деваться? Командую: «Встать! Смирно!» Подбегаю и рапортую: «Товарищ генерал-полковник! Взвод разведки 293-го гвардейского стрелкового полка занят изучением трофейного пулемета. Командир взвода гвардии рядовой Дубинда».

Он посмотрел на меня, на моих «орлов», молча повернулся к нашему командиру дивизии и спросил:

— Был бы ты рядовым, тебя в дивизии кто-нибудь слушался бы?

Командир промолчал, а что он мог, если ответ уже содержался в самом вопросе... На следующий день меня вызвали в штаб и выдали погоны младшего лейтенанта, а маме выслали аттестат на восемьсот рублей.

На свое последнее боевое задание я шел уже офицером. А дело было такое. Фронт на время стабилизировался. Но когда из нашего тыла к переднему краю подходили значительные цели: танки, артиллерия или войсковые подразделения, — по ним с той стороны открывали бешеный обстрел тяжелые минометы. Наши артиллеристы пытались определить, откуда бьют, но ничего не получалось. Вот вроде бы засекали, откуда летят мины, выпускают по тому месту десятки снарядов. Все. По расчетам, живого места от вражеских позиций не осталось. Но появляется на нашей стороне значительная цель — и снова бешеный налет, да стреляют точно... Терроризировали они наш передний край. Уже и самолеты-разведчики летали, все высматривали, где же их минометные позиции, — ничего не нашли. Как из-под земли бьют.

Послали меня с ребятами искать этих призраков, а если они даже под землей — все равно найти, и дать точные координаты. Примерно все мы знали, что расположены они где-то неподалеку от озера, — было такое за передней линией вражеской обороны. Перешли мы линию фронта в верховьях этого озера, через болота. Погодку выбрали похуже, с дождем и ветром. А дальше, уже по вражеским тылам, брели с большой опаской. Если они так хорошо спрятались, то кто кого первым обнаружит: мы их или они нас? Еще был план, что если ночью не отыщем, останемся на день, спрячемся у озера и попытаемся обнаружить, когда они начнут стрелять.

Только прибегать к этому плану не пришлось. Началась стрельба, и мы увидели вспышки на самом озере! Мины вылетали и уходили на нашу сторону прямо с водной глади! Немцы придумали такую хитрость: поставили на озере плоты, притопили их, чтобы вода покрывала бревна полностью, сделали с берега к ним трапы — и тоже на несколько сантиметров ниже уровня воды. Пройти по ним в сапогах легко, а сверху, даже с самолета, ничего не видно. Минометы расставили на плотках так, чтобы они оказались под деревьями.

Опорные плиты притоплены, а стволы, как пеньки на отмели, у берега, заросшего ракетами. Не подкопаешься. Наши тут снарядами все вокруг перепачкали, а в воду стрелять никому в голову не пришло!

Мы эту загадку разгадали, увидели траншею, что вела от самого берега под деревьями, и вход в блиндаж... Обрадовались и пошли обратно. По дороге встретили пароконную подводку с фуражиром и фельдфебелем — продукты в часть везли. Мы, конечно, сопровождавших уничтожили, хорошо поужинали и на радостях как-то расслабились. Идем довольные, гордость нас распирает: такой секрет вывели! И так от невнимательности сбились с пути. Все же дело было ночью и в чужом тылу, на чужой земле. Натыкаемся на траншею, которых с вечера вроде бы не было. А ходило нас тогда девять человек.

Один из моих разведчиков вдоль траншеи топает с автоматом наготове: может, где ниша или ход в укрытие, чтобы не прозевать. Слышу: тихо свистит. Я — к нему. Показывает, что траншея заканчивается низкой дверцей — входим в блиндаж. Спрыгивая вниз, нагибаюсь возле двери, прислушиваюсь. Тихо. И свет не горит внутри. Приоткрыл дверь. А у меня в одной руке автомат, а в другой граната — все наготове.

— Никого нет, — сообщаю ребятам.

Поворачиваюсь, и тут меня кто-то сбивает с ног. Боли не почувствовал, только сильный толчок. Уже падая, швырнул в блиндаж гранату. Взрыв! Ребята попадали в траншею, ворвались в блиндаж, а там двое, но граната их уже распотрошила... Оказывается, они затаились, и когда я повернулся, чтобы уйти, один не удержался, выстрелил. Пуля вошла сзади в чуть выше подколенной выемки и наискосок сделала дырку через все бедро.

Подхватили меня разведчики на плащ-палатку и — дай бог ноги, поскорее прорваться через линию фронта, к своим. Тяжело выносили меня ребята оттуда, с той стороны. Но вынесли. Получив от нас сведения, артиллеристы уже поработали... Они из этого озера сделали уху — вместе с минометами и минометчиками.

Мое ранение оказалось серьезным. Провалился я по госпиталям несколько месяцев, был такой период, когда не знал: на двух ногах выйду, на одной, и выйду ли вообще из палаты? Самый, пожалуй, кризис был, когда все праздновали Победу. Меня эта радость обошла, а потом достигла уже задним числом. Вместе с нею и горечь: узнал, что два моих брата погибли на фронте. Кто имел старшего брата, тот поймет такую потерю...

В конце июня 1945 года, когда я лежал в госпитале в Москве, недалеко от Арбатской площади, когда уже мои дела определенно пошли к лучшему и я шкандыбал (но на своих!) по палате, ко мне с цветами и поздравлениями пришли сестры, врач, даже какое-то начальство отделения. Оказывается, вышел Указ о присвоении мне звания Героя Советского Союза.

В госпитале у меня никаких наград не было. Два ордена Славы потерял в первом же бою, другие, как говорится, уже выписанные и пронумерованные, еще разыскивали меня. А тут сразу — Звезда Героя! Зауважали меня, даже определили в двухместную палату. Но поскольку там вторая койка оставалась пустой — скучновато мне стало, хоть просись обратно в общую, где уже с ребятами перезнакомился. Возможно, что и попросился бы, но тут привозят мне соседа — на колясочке, в сопровождении целой свиты. Он угадается, говорит, что покалечить человека и дурак может, а медики должны лечить, и что ноги ему еще нужны...

Его успокаивают, вежливо так, обещают пригласить профессора, самое главное светило в этом деле. И правда, вскоре, не то к вечеру, не то на следующий день, появляется у нас в палате старичок. Неважненький. На вид, конечно. А специалист, может быть, он хороший. Стал уговаривать моего соседа, просил успокоиться и по части ног обнадежил... Действительно, после операции соседу стало лучше, и ноги у него не отняли. Потом мы познакомились, стало мне казаться, что я где-то видел этого человека. Он, должно быть, почувствовал такой вопрос в моем взгляде... Слово за слово, лежим же в одной палате, и вскоре сосед знал про меня почти все, а я о нем — ничего. Когда я вспомнил, как сидел в симферопольском лагере, где площадка была размечена на квадраты, он засмеялся.

— Помнишь, — говорит, — немецкого офицера, который искал знатоков местности под Новороссийском?

Тут я понял, что это он и есть! Сколько лет с тех пор прошло, почти целая жизнь, а мне до сих пор наша встреча в госпитале кажется невероятной. Мой сосед по палате оказался советским разведчиком, в госпиталь он попал потому, что неудачно приземлился, когда прыгал с парашютом, поломал обе ноги и долгое время оставался без медицинской помощи... Он мне потом объяснил, многое рассказал. В общем, я не из боязливых, но на его месте, в его шкуре, думаю, что не смог бы.

Осенью я демобилизовался и приехал домой. Устроился помощником капитана на один катерок... Нога у меня не сгибалась еще. А время было тяжелое — не то слово. Просто куска хлеба не хватало. Голодали многие. Раздетые, разоренные... И я не каждый день был сыт — это если говорить честно. В сорок шестом вызывают меня в военкомат и вручают орден Богдана Хмельницкого третьей степени и орден Славы первой степени. В военком замечает:

— Первая степень Славы без третьей и второй не выдается. Где они у тебя?

— Потерял, — говорю.

Военком написал в архив, пришла бумажка, подтверждающая, когда и за что меня награждали орденами Славы. Но и это не все. Пришлось еще писать командиру моего полка, чтобы он дал свое подтверждение. В конце концов прислали мне утерянные в Восточной

Пруссии ордена и ... под теми же номерами. И еще военком разбирался с моим званием. Я ведь какое-то время носил погоны младшего лейтенанта. Спрашивает он: какое у меня военное образование, какие курсы или хотя бы сборы кончал? Никаких. Думал он, думал... Ты, говорит, был старшиной катера на флоте, вот тебе и запишем в военный билет — старшина. Так меня и вывели из офицеров.

Собрал я свои награды, сложил их в коробочку и пошел наниматься на новую работу. Был тут в районе совхоз от организации «Каракульэкспорт», имел свою парусно-моторную посудину чуть побольше дубка «Друг-братец», которым владел когда-то мой отец. Стал я на этой посудине шкипером. Не скажу, что особенно увлекала такая работа, зато в совхозе, кроме хлеба по карточкам, можно было иногда купить килограмм крупы или какого-нибудь жиру. А это значило больше, чем зарплата.

Вспомнился мне этот совхоз потому, что в нем произошла еще одна встреча... Правда, не такая фантастическая, как в госпитале, и, конечно, менее приятная.

Сижу в кабинете директора — по делам зашел. Появляется франт — в кожаном реглане, шалевый каракулевый воротник, такая же папаха, все на нем скрипит и благоухает. Отдает он директору совхоза свои указания и вдруг обращается ко мне:

— Семенкин-Дубинда?

— Он самый,— отвечаю с удивлением.

— Это же,— говорит,— ты со мной бежал от немцев из Очакова?

По ночному морю на шлюпке?

Теперь я узнал в нем агронома, который не умел за весло держаться. А он еще что-то сказал директору и вышел. Даже не оглянулся.

— Откуда ты его знаешь? — спрашивает директор.

Я рассказал. Директор покачал головой.

— Он теперь большой начальник. После того, как ты его на своем горбу, можно сказать, вывел из плена, мог бы и поинтересоваться, не надо ли тебе чем помочь... Ну, хоть бы спросил, как ты, что ты? — не мог успокоиться директор совхоза. — По виду можно понять, что ты не процветаешь.

Мне, конечно, ничего от него не было нужно, разве что посидеть, поговорить... ведь такой рискованный путь проделали вместе! Я его, этого агронома, через несколько лет снова встречал. Прогорел он на высокой должности, снова стал таким несчастным, даже просил у меня кое-какого содействия. Только теперь уж я его к себе на борт, фигурально выражаясь, не взял.

В 1955 году я стал работать боцманом на китобойце из флотилии «Слава». Должность эта хлопотная, вся хозяйственная часть судна — на тебе, весь порядок — тоже. А каждый рейс продолжался около восьми месяцев. Весь мир обойдем, в Австралии бываем, в Южной

Америке, нахлебавшись холодной воды в Антарктике, пока придет долгожданный момент: задание выполнено, сезон закончен, курс — к родным берегам.

Во время промывки, кроме прочих обязанностей, у боцмана китобойца была еще одна: сидеть в бочке на мачте и высматривать китов. Два часа дежуришь — четыре другой работой занимаешься. А в бочке, на мачте, когда судно болтает так, что оно чуть ли не набок ложится, сидеть неудобно. И ветер минусовой температуры и мокрый. Чувствуешь себя, как горошина в свистке, которую вот-вот выдует. В первом рейсе у нас еще были комбинезоны на гагачьем пуху. Они быстро износились. Потом появились комбинезоны с электроподогревом... Качнуло вправо — есть контакт, включился: понесло тебя вместе с бочкой влево, того и гляди об воду шлепнет, — нет контакта. А когда в бочку несколько раз влезешь, комбинезон уже во многих местах рваный. Не поймешь — греет он тебя или током щиплет. Отказались от них. Поняли: нет ничего удобнее, чем сидеть в бочке в обычной стеганой ватной фуфайке. А что холодно, так это дело привычки.

Шторм семь-восемь баллов, норвежцы не промышляют, японцы тоже, а мы охотимся. Самое трудное в такую погоду — поднять кита на палубу. Он уже к борту ошвартован, лебедки настроены, ловим момент, когда судно в его сторону накренится... В это время все на палубе. И вот нужный момент — и все по пояс, а то и по шею в ледяной воде. И так несколько раз за день.

Многие города и страны повидать привелось: Кейптаун и Монтевидео, Рио-де-Жанейро, Мельбурн... В Веллингтоне, в Новой Зеландии, мы вообще были первыми советскими моряками, посетившими этот порт. В конце 50-х годов во многих далеких странах люди смотрели на нас, как на пришельцев с другой планеты. «Холодная война» была в самом разгаре, местные газеты писали про нас и про нашу страну такое, что сам барон Мюнхгаузен не придумал бы. А мы одним своим появлением разрушали многие неправильные представления. Уже одно то, что мы, советские, такие же люди, поражало. Не голые и не босые, умеем улыбаться, довольны собой и друг другом... На нас смотрели так, как будто получили возможность своими глазами прочитать страшно засекреченный документ. Если к тому же узнавали, что кто-то из нас коммунист, — его чуть и не ощупывали. Оглядываясь на те годы, скажу с уверенностью, что мы достойно представляли нашу Советскую Родину.

Весь мир повидал я, со всеми флагами встречался, есть у меня материал для сравнений... Мы добры и терпимы. Порою даже излишне терпимы. Помню, каким бедствием для боцмана был каждый проход по Суэцкому каналу, — я говорю о тех, 50-х годах. Кроме лоцмана и других чиновников, нам давали на борт еще и местную аварийную команду. Вроде бы, если что случится, эта команда вручную оттащит

судно в сторону, чтобы не мешать движению по каналу. Глупость, как я считаю, просто лишняя статья, по которой с подходящего судна можно содрать хорошие деньги.

И вот садится на борт босоногая орава, которая в пять минут способна разворовать все, что плохо лежит. Тут уж команда с палубы не уходи. Вызывающий у тебя сострадание полуголый «товарищ» смотрит тебе в глаза, улыбается, а сам в это время босой пяткой медную пробку, которой закрыто сливное отверстие, из палубы вывинчивает.

Стоим в Бейруте. Заказали на берегу печеный хлеб, пополняем запас воды, продуктов... Подъезжает проныра-посредник на мото-фургончике. Сам, значит, верхом на мотоцикле, а позади кузовок на двух колесах. Хлеб привез — длинные батоны. Пощупал я один из них, а он, как дерево, недели две назад испечен. Куда деваться? Деньги уже уплачены. Сгрузили...

Рядом стоит англичанин, борт к борту с нами. Вскоре и ему хлеб привозят — этот же самый посредник. Выходит повар в белом чепце, из открытой двери фургончика достает батон, пробует придавить его пальцем. А он такой же, как и у нас. Тогда повар берет батон в правую руку, как палку, и давай им бить по щекам этого жулика-посредника. Тот же и увернуться не пытается. Поработав как следует, повар бросил батон обратно в фургон и удалился. А посредник с распухшим лицом вскакивает в седло и — фр-р-р! — исчезает. Минут через пятнадцать возвращается и бежит к повару. Тот берет батон, легко сжимает его, а аромат и к нам на палубу доносится... Тогда кивает — сгружай, мол.

Подобных случаев можно вспомнить немало. Конечно, я не за то, чтобы поступать так, как сделал английский повар. Тут у них, можно сказать, большой колониальный опыт. Но и мои собственные действия вряд ли можно одобрить. Я поставил себе вопрос так: вот этот деляга-посредник сравнивал меня с англичанином? Если сравнивал, то о ком думал с большим почтением? Знаете, от этой мысли мне стало не по себе...

Десять лет ходил я на китовый промысел, пока позволяло здоровье. Потом перешел на пенсию. Мое прошлое не дает мне скучать: пишут друзья, иногда мы встречаемся... Приглашают выступать перед молодежью. Вот уже нынешней весной бригада Ивана Чернобая с Херсонского комбайнового завода ввела меня в свой состав почетным резчиком металла. Должность вроде почетная, но зарплату начисляют, до трехсот рублей в месяц — и переводят в Фонд мира.

Не обходят меня и общественные заботы родного села. Я тут и живу постоянно — в глинобитной хате, под камышовой крышей. Считаю, что для больного человека это самые хорошие условия. Прямо напротив моей калитки причал. Вожусь в саду целый день и вижу, кто приехал, кто уезжает. Есть у меня и свои лодки, только все труднее

рыбачить. Чаще обходимся тем, что жена моя, Валентина Аркадьевна, выйдет на причал, постоит часок с удочкой, худо-бедно пару килограммов поймает. А нам на двоих больше и не надо.

Есть у нас квартира и в Херсоне. Нормальная городская квартира, только перебираемся мы туда уже на зиму, к батареям парового отопления. А в марте — снова в село: надо ухаживать за садом, виноградником, и дышать хочется простором. Жизнь мне послабления не дает. Вот уже сколько лет я начинаю каждый свой день с того, что делаю себе два укола, и то же самое перед сном. Не хочу, чтобы кто-то чужой видел мою немощность...

Нынешним летом мне исполнилось семьдесят. Оглядываясь, должен сказать, что судьба меня не обидела: ведь сколько ребят осталось в Севастополе, на полях Белоруссии, Польши, тех ребят, которые шли рядом со мной. Не остался я безвестным для Родины, а наше село Прогной по праву получило новое имя — Геройское. В этом новом — и навсегда! — имени хоть одна буква, но моя!

Литературная запись Станислава Калиничева.

Константин ПРОИМИН

ЗАРЯ МОЯ ВЕЧЕРНЯЯ

Рассказ

Сороковую годовщину освобождения Приполя, этого маленького украинского городка, утопающего в садах и затерявшегося среди неоглядного степного простора, мы отмечали, как большой и светлый праздник.

Сорок лет — не сорок дней. Менялись времена, менялись люди. И отнюдь не молодели.

Посмотришь на иного сверстника: каким удальцом, красавцем был, а теперь куда все девалось. Значит, и сам ты...

Да, время не щадит никого — ни мужчину, ни женщину. И можете себе представить мое волнение, когда ехал я в этот городок, зная, что встречу там... Но лучше по порядку. А для этого надо отступить ровно на сорок лет назад.

...Было мне в ту пору девятнадцать, ей на год больше. Я пришел на фронт из десятилетки, она — со второго курса Ленинградского университета. Звали ее Валя Русанова.

Сказать, что Валя была красива, значит, почти ничего не сказать. Ибо кто ж из девушек не красив в двадцать лет. Да и что такое красота? Приятная наружность? О, это лишь полдела! Валя при

безукоризненной внешности была красива еще и той внутренней красотой, которая дается не каждому, тем очарованием, что проступает в каждом взгляде, в каждом движении, в каждом слове, сказанном не второпях и к месту.

Мы с нею были связистами в штабном взводе полка.

Что такое связист на фронте, думаю, долго объяснять не надо. Это и боец и труженик войны. При первом же вражеском артобстреле связь, как правило, летит к чертям. Телефонный кабель рвется, да не в одном, а сразу в нескольких местах. Взрывом снаряда или мины оборванные концы разбрасывает в разные стороны. И попробуй найди их, когда кругом тьма (атаки и контратаки бывают днем и ночью), когда свистят пули и продолжают рваться снаряды.

А найти надо — и немедленно: без связи современный бой — это бой без командира. То есть вообще не бой, а гибельная неразбериха.

Вот и упирается все в связиста. Чуть обрыв, как он катушку с кабелем, телефонный аппарат через плечо — и бегом на линию. И уж рвутся там снаряды или нет, густо свистят пули или так, «подвизкивают», это, как говорится, никого не интересует. Умри, а связь дай.

И мы давали. И гибли, конечно: связист от смерти не заговорен.

Щадили, берегли мы только Валю. Кто-то из нас, парней, бжегал с катушкой, а она оставалась у заглохшего аппарата, ждала сигналов с линии.

Должен сказать, что оставить ее, когда случался обрыв, было совсем не просто. «Мальчики, я побегу. Мальчики, моя очередь». И требовался строгий окрик командира взвода лейтенанта Ларина, а то и самого командира полка, чтоб она осталась на месте.

Отчаянная она была, эта Валя. И гордая, не подступись.

Окопная жизнь, она и для мужчины не сахар. А уж о женщинах и говорить нечего. И кто осудит иную слабенькую, если, растерявшись, не совладав с собой, она соглашается на высокое покровительство какого-нибудь охочего до женского пола начальника. Жизнь есть жизнь. И человек, увы, не скала гранитная.

Про Валю могу сказать одно: многие офицеры — и молодые, и в годах, как говорится, подбивали под нее клинья, домогались и лаской и таской, то есть придирками да взысканиями, а она оставалась твердой и непреклонной. На ухаживания не отвечала, с придирками мирилась, была дисциплинированным солдатом, и только.

И можете себе представить, как бесила этим иных не в меру распоясавшихся селадонов. Начальник штаба нашего полка тридцатидвухлетний капитан Дзгоев, подвыпив, кричал однажды, что пошлет Валю на передний край подрывать немецкие танки, а потом вдруг зарычал, закричал зубами. И если б не ординарец, вовремя

утащивший его в блиндаж, пожалуй, натворил бы глупостей: горяч и безрассуден был сверх всякой меры.

Мы, Валины товарищи по взводу, смотрели на нее, как на сестру. Хотя вряд ли нашелся бы среди нас кто-либо, кто не любил ее самой пылкой и искренней любовью. А она, ничего этого не замечая, ни о чем, казалось, не догадываясь, держалась со всеми нами ровно и ласково, как и подобает сестре.

О себе скажу коротко: я любил Валу. Любил первой, самой восторженной и мучительной любовью, которая только и возможна в девятнадцать лет. Я сгорал от этой любви, страдал от ревности, но скорей, наверное, кинулся бы под вражеский танк, чем признался Вале в своем чувстве.

Так вот и шло у нас до поры до времени, а точнее, до того сентябрьского дня сорок третьего года, когда мы взяли это мало кому известное Приполье.

Началось, как положено, с артподготовки. Минут двадцать наша артиллерия была из всех стволов, превратив небо над головой в гулкий виадук из сотен летящих друг за другом снарядов и мин. Потом сигнал к атаке — и танки, пехота, а за ними и мы, связисты, ринулись вперед. «Ур-ра!..» И не прошло и часа, как город оказался в наших руках.

Взять-то мы его взяли, а развить тактический успех, как говорят военные, не смогли: у немцев западнее городка, вдоль мелкой, извилистой речушки, оказались запасные позиции, за них они и уцепились.

Дальнейшая атака захлебнулась, но город-то наш! Без промедления роем окопы и блиндажи, оборудуем связью полковой командный пункт, соединяемся с закрепившимися впереди батальонами и ротами.

Окопаться как следует немцы нам, конечно, не дали: едва стемнело, пошли в контрнаступление. И тоже по заведенному порядку: артподготовка, атака... Очень им хотелось вернуть оставленный город.

Загрохотали орудия, все поле впереди, где залегла наша пехота, покрылось оранжевыми вспышками — в темноте они казались огненными столбами. И, конечно, не прошло и пяти минут, как связь со вторым батальоном, занявшим позиции по самому центру, оборвалась. Командир полка, пожилой и строгий майор Греков, прямо задохнулся от огорчения и злости.

— А ну, кто там? — повернулся он к нам, телефонистам. — Восстановить связь немедленно!

— Разрешите? — вскакивает Валентина и уже тянется к катушке с кабелем.

— Отставить! — кричит командир полка. — Что у вас, мужчин нет во взводе? Чукреев!

А я уже стою с автоматом на шее и с катушкой, которую еще не успел надеть.

— Разрешите выполнять?

— Давай. Только быстро!

Вскакиваю из нашего временного блиндажа, беру в правую руку провод и, как Тесей по Ариадниной нити, мчусь, пригибаясь под пулями и жужжащими осколками.

Бегу сто метров, двести — обрыва нет, он все еще где то впереди. А снаряды рвутся, а мины воют. Пригибаюсь, падаю, ныряю в воронки, стараясь увильнуть от смертоносных осколков. Слышу уже и стук пулеметов впереди и автоматную трескотню: похоже, немцы поднялись в атаку. Устоят ли, выдержат ли наши? Все-таки позиция то не бог весть какие — за день много ли успеешь? Хорошо представляю, как нервничает сейчас на командном пункте майор. И тут как раз нахожу обрыв. Конец провода, по которому я бежал, у меня в руках, а где же второй, с которым мне соединиться? Он может быть и рядом, а мог и отлететь куда-нибудь метров на двадцать, а то и больше.

Но даже если рядом — в темноте, под огнем найти его нелегко. Кидаюсь вправо, влево, шарю руками по земле. Немецкий кабель — тот цветной, его и в темноте видно. А наш, прорезиненный и просмоленный, под цвет чернозема. Его и днем не вдруг-то разглядишь, а ночью он и вовсе незаметен. И вот шарю, ползаю по полуокружности, все более и более удлиняя радиус. Нет, не попадается. «Черт с ним, — думаю, — не попадается и не надо. Сейчас подсоединю к оборванному концу катушку и потяну новую линию: до НП батальона уже недалеко». Сползаю в воронку, зубами зачищаю концы, соединяю их накрепко, обматываю изолентой. Выбираюсь наверх — и едва делаю шаг, как прямо передо мной, метрах в десяти, встает ослепительный оранжевый столб.

Меня опрокинуло взрывом; падая, я почувствовал, как все тело облепило чем-то горячим. Боли не было, только жар и онемение, словно под кожу впрыснули новокаина. «Пустьяки, — думаю, — сейчас пройдет». Быстро вскочил на ноги, наклонился вперед, чтоб легче было разматывать катушку, сделал несколько шагов и повалился лицом вниз.

И опять в горячке ничего не понял. «Споткнулся. Сейчас встану...» Но встать я уже не мог. Левая рука повисла плетью, правое плечо горело, гимнастерка на нем стала мокрой и липкой от крови. Не

слушалась меня и правая нога. «Не потерять бы сознание», — промелькнуло в голове еще довольно четко, а дальше пошла уже какая-то путаница. Тело разламывалось от нестерпимой боли, сознание мутилось. Я стонал, кого-то звал, то и дело погружаясь в зыбкое беспамятство и усилием воли извлекая себя из него, как из омута.

Явь путалась с бредовой несуразницей, и я решил, что брежу, когда услышал женский голос, окликавший меня по имени:

— Паша! Павлик!

Голос был Валин, я узнал бы его среди тысячи женских голосов. Но ведь она там, в блиндаже, ждет моего сигнала с линии. «Брежу... слуховые галлюцинации», — решил я. И почувствовал, как меня сдвинули с места, потянули к воронке, из которой я недавно вылез.

— Потерпи, миленький, потерпи. Сейчас я тебя перевяжу. Сейчас, сейчас...

Нет, это была все-таки Валя.

— Ты?.. Откуда? — с трудом разлепил я веки.

— Как откуда? — Грудной и нежный Валин голос был полон удивления. — Или ты забыл, что мы с тобой сегодня дежури́м на КП? Я сердцем почувствовала, что с тобой беда. Но теперь все будет хорошо, родненький мой. Куда тебя ранило — ты весь в крови? В плечо? Сейчас перевяжу.

Я что-то отвечал, торопил Валу, помня о невыполненном приказе. А она, не обращая внимания на мои слова, успокаивала:

— Испугался? Думал, конец? Глупенький мой. А я-то для чего же? Или ты не знаешь, что я тебя люблю? Не знаешь, конечно. Небось, даже не догадываешься, мой единственный. Люблю! Знаю, и ты меня любишь. Ведь любишь, правда? Только не отвечай сейчас, молчи. Мы еще наговоримся. Война к концу идет, а мы с тобой сто лет будем жить. Правда, милый?

Я слушал, не отвечая, и боялся лишь одного, — что это опять мне грезится.

Усилием воли открыл глаза — Валино лицо надо мной. Живое, реальное, с русой прядью волос, выбившейся из-под пилотки. И голос ее, Валин. Только вот слова... Раньше я никогда таких не слышал. Ни от кого. А от Вали и услышать не надеялся.

— Говори, говори, — прошу я. — Не молчи.

— А я и не молчу. Когда год назад мы с тобой здесь встретились, когда я узнала тебя поближе...

Нить внимания моего не выдерживает, рвется, я падаю в черноту и перестаю слышать Валин голос.

Через какое-то время он снова прорезается сквозь тьму и тишину:

— ...Что мне их звания и должности? Не за них ведь любят, правда? Но и тебе я ничего не сказала бы до конца войны... Ой! —

прерывает она себя.— У тебя же еще рука левая... И нога. Надо же! Всего посекло. Сейчас перевяжу.

— Да, да,— окончательно прихожу я в сознание,— затыки, пожалуйста, потуже, я мигом доковыляю до батальона. Нужна связь.

— Что ты, миленький! — Валя погладила меня по щеке.— Связь я сама налажу. Или я не связистка? До батальона тут, и правда, недалеко. Руку и ногу тебе перевяжу и... А ты лежи, не шевелись, я вернусь очень скоро.

— Никуда ты не пойдешь. Слышишь, что там, наверху?

— Слышу, слышу,— стягивая на моей руке бинт, сказала Валя.

— Я сам доползу.

— И не думай! Доползет он. Да ты без моей помощи и из воронки то не вылезешь. Лежи тихонько, а то кровь опять пойдет. И жди. Я ни секунды там не задержусь, дотяну только связь и — обратно. Минут через десять тут буду. Договорились? Ну, вот. Сейчас завяжу кончики... вот та-ак... Все! Пока.— Она наклонилась и неловко, неумело поцеловала меня в губы.— Вот... Никого не целовала... ты первый.

— Валя!

— Лежи, лежи.— Она подхватила мою катушку.— Лежи спокойненько, я сейчас. Я бегом.

— Валя! — снова крикнул я, но она уже, наверное, не слышала меня за разрывами снарядов, проворно выползла на край воронки, оглянулась и исчезла.

После перевязки мне стало легче, боль помалу унялась, и только тошнотворная слабость, все время державшая меня на грани яви и забытья, по-прежнему растекалась по всему телу. Я лежал на дне воронки, на этом комковатом, пахнущем еще не выветрившейся толовой гарью ложе, и смотрел в звездное сентябрьское небо. Здесь я был почти в безопасности: пули и осколки если и залетали сюда, то уже обессиленные, тупо шлепались о стенки, не задевая меня; прямое попадание снаряда в воронку — дело крайне редкое. Но если б я лежал и на открытом месте, и снаряды вот так же рвались и справа, и слева, и впереди, я и тогда думал бы не о себе, а о Вале. «Господи,— никогда не веря в бога, жарко молился я сейчас,— помоги ей остаться невредимой, оборони ее от осколков и пуль».

Десять минут она дала себе, конечно, сгоряча и чтоб успокоить меня. Я это понимал и ждал ее не раньше, чем через полчаса. Я надеялся с ее помощью встать и, опираясь на здоровую ногу, как-нибудь добраться до КП полка. А там уж меня препроводят в медсанбат.

«Тридцати минут Вале вполне хватит», — думал я. И, глядя на ночные звезды, запоминая, где какая стоит, пытался определить по ним хоть приблизительно, когда пройдут эти тридцать минут.

А в ушах все звучал тихий и ласковый Валин голос: «Война к концу идет, а мы с тобой сто лет будем жить. Правда, милый?» «Правда, правда,— мысленно отвечал я ей,— все так и будет, только возвращайся, пожалуйста, поскорей».

Переместившиеся звезды говорили, что прошло уже не менее пятнадцати минут. «Еще столько же,— преодолевая нетерпение, прикидывал я,— и Валя покажется над краем воронки».

Однако минул и этот срок, а Вали все не было. «Да точно ли прошло полчаса? — заставил я себя усомниться.— В моем положении каждая минута кажется вечностью. Нет, полчаса еще не прошло, надо набраться терпения и ждать».

Когда же по всем прикидкам прошло не менее часа, я начал беспокоиться. Звезды, неотступно смотревшие на меня с высоты, передвинулись, спрятались за край воронки, на их месте появились новые, а моя единственная, так ярко засветившая сегодня звездочка куда-то пропала. «Заблудилась, сбилась с пути? — прислушиваясь к затихающим звукам боя, думал я.— Потеряла меня в этих бесчисленных воронках и теперь ищет, бегаёт от одной к другой».

Но ведь найти меня так просто — по кабелю: он безошибочно приведет прямо сюда... Значит, что-то случилось. Что?

Я и мысли не допускал, что с Валею может случиться непоправимое. Нет, нет и нет! Сегодня это невозможно. Просто невозможно — и все. Должна же быть в мире какая-то справедливость! Иначе для чего он, этот мир?

Нет, Валя просто ранена. Возможно, даже тяжело... Именно тяжело, иначе она добралась бы до меня. Да, да, она тяжело ранена, и ей некому помочь... кроме меня.

Эта мысль сразу побудила меня к действию. Я приподнял голову, попробовал опереться на руки, чтоб встать или хотя бы перевернуться на живот. Но левая рука по-прежнему не слушалась, а когда я уперся в землю локтем правой, раненое плечо отозвалось такой резкой болью, что я вскрикнул и на несколько секунд потерял сознание.

Очнувшись, решил попробовать обойтись без рук; без их помощи повернулся лицом вниз и, упираясь в землю здоровой ногой, начал потихоньку выталкивать себя из воронки. Я выбрал для этого наиболее пологий склон, собрал в кулак все силы. И был уже почти у цели. Но тут, обрадовавшись, заторопившись, я машинально уперся в землю не только здоровой, но и раненой ногой и от нового удара боли, пронзившей, казалось, самый мозг, опять ушел в беспамятство.

Очнулся на дне воронки и тут же возобновил попытку, надеясь, что на этот раз буду осторожнее и предусмотрительнее.

Увы, поползти удалось лишь до середины, а там сознание само выключилось. На секунду сделалось дурно, как при сильном угаре,

звезды в небе качнулись и поплыли, поплыли куда-то в сторону, я уронил голову наземь — и все.

Пришел в себя лишь утром. Лежу на спине, над головой — брезентовый потолок и очень сильно пахнет лекарствами. Ходят люди в халатах. Медсанбат... Когда и как сюда попал, не знаю.

— А тебя два солдатика принесли,— сказала немного погодя немолодая уже медсестра.— Дружки твои, видно. Очень просили за тебя.

— Может быть. А Вали... Валентины Русановой нет среди раненых?

— Русановой? — Медсестра задумалась, почесывая широкую переносицу. — Что-то не припомню. Надо проверить по спискам.

— Красивая такая,— уточнил я.

Она засмеялась, показывая коронку из нержавеющей стали.

— А у нас тут все красивые, иных не держим.— И, посерьезнев, добавила: — Не горюй, найдется твоя Русанова. Не у нас, так в другом медсанбате. А может, уже и в госпитале. За эти сутки тут много раненых перебивало.

Целых два дня, пока меня «обрабатывали» (ранение оказалось «множественным», «с повреждением костей и внутренних органов»), готовили к отправке в тыл, я не уставал расспрашивать кого только можно о Вале. Но никто даже фамилии ее не слышал. Один, правда, переспросил:

— Не Русланова часом? А то артистка такая есть, по радио поет.— И, посмотрев на меня, рассмеялся: — Старовата она для тебя.

Так я и уехал, ничего не зная о Вале.

В эвакогоспитале, в старом уральском городе Ревде, куда я попал после долгого и мучительного пути в санитарном поезде, мне почти с ходу ампутировали правую ногу: началась гангрена, и медлить было нельзя.

— Отвоевался, браток,— сочувственно встретили меня в палате. А старая нянечка, разносившая обеды, постояла возле моей койки, покивала головой и, отвернувшись в угол, заплакала.

Дело давнее, да и не хочется беречь душу воспоминаниями, скажу только, что подкосило меня все это здброво. Матери и отцу (он тоже был на фронте) долго не писал. Когда же по настоянию моих новых товарищей все же взялся за карандаш, то утаил главное. Написал просто: ранен — и точка.

Вскоре пришло долгожданное письмо из полка (в ответ на мое, посланное еще с дороги). Осиротевший дружок Сеня Радченко сообщил невеселые вести, в том числе и главную для меня: «Спрашиваешь за Валю? Так она тоже раненая. Осколок попал чи в голову, чи в лицо, точно не знаю, бо не видал. Знает командир второго батальона

капитан Олесов, но и его вчера ранило. А Валю без памяти отвезли тогда прямо в тыл. Сам командир полка приказал».

Раз пять перечитал я коротенькое Сенино письмо, силясь хоть между строчек найти какие-то важные для меня подробности о Вале. Но их не было. За исключением, пожалуй, одной: «Знает командир второго батальона капитан Олесов». Значит, Валя все-таки дотянула тогда связь. Или почти дотянула, раз Олесов видел ее раненую. Может, дотянула и спешила назад, ко мне?..

Других подробностей не было, их знал только капитан Олесов, но и у него не спросишь. Ничего не подозревающему Сене Радченко даже в голову не пришло сообщить, где он теперь, этот раненый капитан, — у себя в батальоне? в медсанбате? или тоже в тылу?

Впрочем, это легко узнать. Через ребят нашего взвода можно узнать не только о капитане, но и о самой Вале — где, в каком городе, в каком госпитале она находится: теперь-то уж это наверняка там известно. А дальше садись и пиши ей письмо.

И я загорелся надеждой, представил себе, как удивлю ее и обрадую, какие письма начнем мы писать друг другу. Лишь бы она была жива, не умерла по дороге в госпиталь.

Да, надо немедленно написать Семену. И я потянулся к тумбочке, где лежали у меня карандаш и бумага. Но тут вдруг зачесалась под одеялом моя правая, несуществующая нога — что-то часто стала чесаться пятка. Чешется, прямо хоть на стенку лезь, а почесать невозможно, потому что не только пятки, а и всей ноги, выше колена, у меня нет.

Нет, я инвалид, калека. Вот о чем я должен буду написать Вале в первом же письме. Чтоб все по-честному.

О, она не отшатнется от меня, нет. Не такой она человек, наша Валя Русанова. Пожалуй, сделает даже вид, будто ничего не произошло. А то и вовсе начнет уверять, что быть женой инвалида, прислуживать увечному защитнику Родины для нее большое счастье. Но сам-то я должен иметь совесть! Кто дал мне право превращать молодую, красивую девушку в служанку, в няньку для инвалида? Никто мне такого права не давал. Я инвалид и, как это ни прискорбно, обязан знать свое место.

Я решил никому не писать. Ни Семену, ни другим моим товарищам. Зачем? У них своя судьба, у меня своя. Теперь между нами нет ничего общего.

И не писал. А на письма, которые приходили, не отвечал.

Не писал, не отвечал, но... с полгода, пока лежал в госпитале, а потом долечивался дома, в родном своем Купавине, втайне надеялся получить от Вали письмо. А почему бы и нет? Если она жива, найти меня легче легкого — для этого стóит только написать в наш взвод.

Но письма не было. Ни в том году, ни позже, когда, окончательно встав на ноги, а точнее, на левую ногу и протез, я поступил на физмат ближайшего от наших мест Кемеровского пединститута.

Валя исчезла из моей жизни прочно и навсегда.

Я не верил, что ее нет больше на свете, не хотел верить. И был момент, когда колебался — не подать ли документы в Ленинградский университет: вдруг да встречу там Валю?

Но университет еще не вернулся из эвакуации, а мать, узнав о моем намерении, горько обиделась: «И чего тебя тянет на край света? И чем Ленинград лучше Кемерова, не пойму?»

Я не стал ей ничего объяснять, только молча обнял, поцеловал. И поехал в Кемерово.

И пошли годы, та простая и непростая, порой очень даже нелегкая, а в общем-то обыкновенная человеческая жизнь, какой живут миллионы.

В сорок восьмом окончил институт и ровно через год женился на скромной учительнице английского языка. Между собой, а иногда и при наших давно уже взрослых детях мы и теперь нередко шутим: «Она меня за муки полюбила, а я ее — за сострадание к ним», — имея в виду не те фронтовые муки, о которых я в общем-то мало кому рассказываю, а муки молодого учителя, оказавшегося единственным мужчиной среди сплошь женского учительского коллектива.

Муки не муки, но в учителях я так и не прижился. Честно «отработал» диплом, а там поступил в аспирантуру своего пединститута. К тому времени у нас с Марией уже родился сын.

Теперь, когда все это не только в прошлом, но, как говорится, и быльем поросло, порой кажется, что ничего в моей жизни, кроме учебы да работы, и не было. Учеба, а потом работа. Работа — радость, работа — тягость, работа — лекарь и целитель от всех больших и малых душевных травм и недугов.

Работа, да еще дом, семья.

После сына родилась еще дочь. В памяти с тех пор живут два маленьких смешных существа. Вот они начинают ходить и лепетать, вот бегают в детский садик, в школу... А как стали взрослыми, не заметил.

Теперь у них уже свои семьи, а я, как и прежде, хожу с тросточкой в пединститут. Читаю лекции, веду семинары, принимаю экзамены и зачеты.

Что ж, неужели так-таки ничего в моей жизни и не было, кроме этого института, с которым я так или иначе связан... вот уже сорок лет?

Нет, было.

Была война — главное событие моей жизни. Главное и до конца дней неизгладимое из памяти.

Все, все помнится из тех лет. Да так ясно, словно это было лишь вчера.

И Валю я не забываю. Как вспомню ту сентябрьскую ночь, так и ее вспомню. И защежит, занает в груди.

Одна только эта ночь и была у нас с нею. Одна-единственная. И теперь, столько лет спустя, я уже начал подумывать: а точно ли она была? Не примерещилось ли мне все это в бреду? Ведь я столько раз терял в ту ночь сознание. Может, Валя и близко ко мне не подходила, и ранило ее не тогда, а после. Может, я потому и не дождался от нее ни одного письма, что ей, собственно, и писать-то было не о чем...

Долго изводил я себя подобными мыслями. И вдруг в августе этого года получаю письмо. Нет, не от Вали, а от Семена Радченко, разыскавшего меня через адресный стол.

«Чи ты знаешь, — спрашивал мой фронтовой друг, — что совет ветеранов нашей дивизии шукает всех, кто жив? Из нашего взвода нашлись уже четверо — Петя Данцев, Николай Рябенкий, Андрей Осауленко и Валя Русанова...»

Валя Русанова? Я даже вздрогнул и, охваченный волнением, перечитал ее фамилию по буквам, чтоб не ошибиться. Валя... Жива! А я-то в душе уже простился с нею. Ну, спасибо тебе, Семен!

«В сентябре, — писал он далее, — собираемся у Приполье, бо сорок лет уже, как взяли его у немцев. Наши будут все. И тебе пришло вызов, если согласен».

Я тут же ответил Семену, что согласен, что приеду и без вызова.

И вот я в Приполье.

Сорок лет оно жило в моей памяти и многократно снилось, наполовину разрушенное, порядком выжженное, но все равно дорогое и близкое сердцу. Думалось, как приеду, так сразу его узнаю: ведь это последний город, который я видел на войне.

Иду от станции, опираюсь на трость, оглядываюсь. А кругом — густые, чуть тронутые осенней желтиной сады, белые домики. И хоть бы что-нибудь из прежнего — здание какое или башня. Ничего! Впрочем, башня за вокзалом как будто, и правда, прежняя. Ну да: вон темная цементная заплата на месте, куда угодил снаряд.

«А сам вокзал? — вглядываюсь в это просторное, недавно покрашенное сооружение. — Ну, он-то уж и подавно новый: тот, помнится, был разбит до самого фундамента».

Да, все новое: и дома, и магазин, и школа, показавшаяся в переулке, — все отстроено после войны.

Растут, обновляются, молодеют города. Особенно те, что пострадали от войны. И только мы, их освободители, увы, не молодеем. Какими-

то предстанут передо мной друзья? Ведь я их помню еще безусыми, каким и сам тогда был. И Валя... Узнаю ли я ее?

Ветеранам отвели единственную в городе гостиницу — ее трехэтажный корпус виднелся в конце Привокзальной улицы. Через сотню метров меня догнал микроавтобус; молоденькая девушка, страшно конфузясь и краснея, извинилась, что проглядела, прокараулила меня, помогла подняться на ступеньку.

— А ваши, — преодолевая застенчивость, скороговоркой рассказывала она, — еще утром, а некоторые даже вчера приехали. У всех столько орденов, медалей, а один — Герой Советского Союза. И генерал есть.

Автобус подвернул к гостинице и остановился.

— Давайте помогу вам, — кинулась ко мне девушка.

— Спасибо, я сам.

— Ну, хоть портфель дайте.

У входа в гостиницу, где стояли и сидели на лавках пожилые люди, посверкивая и позванивая металлом многочисленных наград, дежурили два паренька в школьной форме; один из них тут же взял у девушки мой портфель:

— Идемте, провожу вас.

Я пошел было за ним, никем из присутствующих не опознанный, спеша проскочить, пока сам никого еще не узнал. Все это потом, потом, а сейчас поскорей умыться, переодеться, привести себя в порядок после дороги... Но тут чья-то крепкая мужская рука вдруг схватила меня за локоть:

— Стоп! Разогнавшись, как паровоз, и по бокам не дывыться...

Останавливаюсь оторопело.

— Семен?

— Ну, а як же ж? — радостно сверкает глазами мой старый друг Семен Радченко. — Сэмэн! Свого батька сын.

Мы обнялись, расцеловались. Отстранившись, снова смотрю на Семена: седые усы, как у запорожца, белые виски из-под смешной маленькой шляпы. Но глаза все те же — усмешливые и лукавые украинские глаза.

— Що ты на меня дывышся? — смеется Семен. — Ты сюды глянь. Его тут с утра дожидаются, от дверей не отходят, а он — ноль внимания.

Поворачиваю вслед за Семеном голову — Валя?! Конечно, это она. Но, боже, как поседела, как округлилось лицо. Строгий темно-синий костюм, очки... Встреться где-нибудь на улице, — пройдешь мимо и не узнаешь. Подумаешь: красивая женщина — и только.

— Валя... Валюшка, — шепчу я, преодолевая спазмы в горле.

— Здравствуй, Павел.

Беру обеими руками ее руку и от волнения не могу говорить. Слезы застилают глаза. Бережно обнимаю ее и вижу, что она тоже плачет.

И еще вижу... Нет, это действительно едва заметно — длинный шрам, пересекший наискось ее милое и прекрасное лицо. Осколок рассек бровь, чудом не повредив глаз, слегка затронул переносицу и левую щеку. Медики сделали все, что смогли, остальное довершило время. Но этот шрам, который, возможно, украсил бы лицо закаленного в боях солдата, был все же так неуместен на красивом и добром женском лице.

Мальчик с моим портфелем в руках терпеливо ждал в стороне.

— Иди устраивайся, — сказала мне Валя. — И выходи, я подожду тебя здесь.

Через десять минут я вышел, разыскивая глазами Валу, но тут опять подвернулся Семен. Радостный и возбужденный и, как всегда, очень активный в радости, он потащил меня по кругу, требуя, чтобы я с первого взгляда узнавал своих бывших однополчан. Сам он давно уже всех распознал, со всеми поговорил и теперь спрашивал бесцеремонно:

— А цэ кто?

Иных я «угадывал», перед другими останавливался в недоумении, и тогда Семен, по-детски радуясь, что я «забув», охотно называл фамилию.

Семен искренне забавлялся, но меня эта его игра порой ставила в неловкое положение. Особенно неудобно почувствовал я себя, когда по ошибке принял начальника штаба нашего полка Дзгоева, того самого, который грозился послать Валу подрывать немецкие танки, за бывшего ездового Карамяна. Семен чуть не лопнул от смеха.

— Ось же вин, Карамян, ось! — тыкал он пальцем в маленького, плешивого и сгорбленного старичка, который тоже смеялся, разевая беззубый рот. — А цэ Дзгоев. Хиба забыл?

Наконец я со всеми перездоровался, всех обнял и, поблагодарив Семю, пошел к Вале, дожидавшейся меня у скамьи.

— А не стареет наш Семен, — сказала она.

— Совсем не стареет.

— Садись, отдохни.

— Успею. — Я взял ее за руку. — Если не возражаешь, пройдемся немножко.

Она мельком глянула на мою трость, но пошла.

День близился к концу. Было тихо, сухо и еще по-летнему тепло. На завтра назначались встречи с жителями городка, митинг на главной площади, возложение венков к памятнику погибшим, а сегодня все мы были предоставлены самим себе, могли гулять, где хотим, и говорить, о чем угодно.

— Не представляешь, как я рада, что ты приехал, — с улыбкой глядя на меня, сказала Валя. — Я ведь еще вчера примчалась, и эти сутки показались мне длиннее, чем все сорок лет.

Я молча стиснул ее руку. Понизившееся, по-вечернему нежаркое солнце нежно румянило своими лучами ее лицо, от этого оно казалось свежее, моложе. И я легко узнавал в нем те, прежние черты, которые так безжалостно ступсвало время.

Мы никогда не гуляли с ней вдвоем. А если случалось идти рядом на марше, то говорили обо всем, но только не о том, что так просилось из сердца. Теперь нас ничто уже не сковывало.

— Сорок лет,— глядя вдаль, где белели среди зелени последние домики окраины, тихо проговорила Валя.— Где ты был так долго?

— А ты?

Она усмехнулась:

— Представляю, какими важными и основательными казались тебе причины прятаться от меня. Ты ведь всегда был таким великодушным...

— Дураком я был, Валя, мальчишкой. А когда поумнел, было уже поздно: жена, ребенок...

— Ты женат?

— Увы. Впрочем, жена моя добрый, порядочный человек. И я ее уважаю.

— Рада за тебя.

Несколько шагов мы прошли молча. Валя шла, опустив голову, поникшая, погрустневшая.

— А ты? — осторожно спросил я.

— Я одна,— негромко, подавив печальный вздох, произнесла она.— Отец не вернулся с фронта, мать умерла во время блокады.

Она ответила так, словно разговор у нас шел не в восемьдесят третьем, а в каком-нибудь сорок шестом — сорок седьмом году. И, должно быть, сама это почувствовала, потому что повторила с улыбкой:

— В общем... одна.

— Но почему?

— Почему, почему. Потому, наверное... Как это пелось? Потому что на десять девчонок...

— ...по статистике девять ребят?

— Это сейчас девять, а тогда и одного, я думаю, не было, так, половинка... Ведь из ребят нашего поколения уцелело всего три процента. Слышал? Только три!

— И я в их числе. И любил тебя без памяти. Написала бы. Я ведь ждал.

— И не дождался.

— Не дождался. Может, хоть сегодня объяснишь, почему?

Она ответила не сразу.

— Ох, эти почему... Да потому, что была не умнее тебя! — с горечью и обидой на кого-то сказала она.— Сколько раз принималась писать и рвала: кому я нужна, урод?..

— Помилуй, какой же ты урод?

— Молчи! Думаю: не пишет, значит, все знает. Ну и пусть, я тоже не буду писать. О твоём несчастье узнала лишь недавно, от Семена — это он нас всех разыскал, беспокойная душа. Целые сутки редела, когда все поняла.— Она схватила меня за руку.— Ну, почему, почему мы были такие дураки, Паша?! Почему никто нас не образумил, не подтолкнул?

Что я мог ей ответить? Я и сам только сегодня все понял. Только сегодня, сорок лет спустя.

Больше мы не касались этой горькой темы, стали вспоминать, как прожили эти долгие годы.

— Как я прожила? — медленно шагая рядом со мной и помалу успокаиваясь, говорила Валя.— После госпиталя демобилизовалась: у меня ведь не только это, — коснулась она кончиками пальцев своего лица, — но и черепное, проникающее, как сказано в истории болезни; долго мучили головные боли. Подлечившись немного, вернулась в университет, заканчивала его уже в Ленинграде. Ну, окончила, оставили в аспирантуре: участница войны, диплом с отличием и все такое прочее... Через два года — кандидат, а потом, годам к сорока, и доктор филологических наук. Вот и вся биография.— Она засмеялась: — Сорок лет в сорок секунд.

«Что ж, на мою «биографию» потребуются не больше, — подумал я, вспоминая послевоенные события.— Внешних фактов и у меня — раз-два и обчелся. «А душу можно ль рассказать?»

Мы остановились на краю поля уже за городом. Солнце садилось, пряталось за дальним холмиком, за речкой, и все поле давно уже убранный и вспаханное под зябь, окрашивалось в малиновые закатные тона.

— Знаешь, что это за поле?

— Знаю, — кивнула Валя.— Я уже была здесь вчера, пыталась хоть приблизительно определить, где что тогда находилось, а главное, где была та воронка.

— Значит, она все-таки была?

— Что?

— Нет, это я уже о своем.

— Была, была, не сомневайся. Только сейчас ничего уже не найдешь. Все распаханно, город расширился...

— Давай тогда считать, что она была здесь, где мы сейчас стоим.

— Давай, — согласилась Валя.— Только сядем. Хорошо? А то ноги что-то подкашиваются.

Мы сели на сухую траву и несколько минут молча смотрели туда, где спряталось солнце, где рдела по всему горизонту багряная полоса.

— Какое сегодня число? — не поворачивая головы, спросила Валя.

— Семнадцатое.

— Значит, ровно сорок лет. День в день.

— Да.

Ровно сорок лет назад мы были здесь молодыми, полными надежд и влюбленными. Влюбленными в жизнь и друг в друга. Этот день мог стать началом чего-то большого и важного для нас, он стал концом. И уже ничего не изменить, не вернуть, не поправить. Война пощадила наши жизни, но не пощадила любовь. Она не убила ее, но обрекла на вечное одиночество.

Слева вдоль поля шло на запад старое шоссе. Метрах в двухстах оно пересекало речку.

— А знаешь,— сказала Валя,— мы и в самом деле где-то совсем близко от тех мест. Шоссе, мостик... На шоссе меня как раз и ранило. Уже на обратном пути. Выскочила, а тут — мина. И ни воронки, ни ямки. Упала, прижалась к асфальту, а оно ка-ак грохнет! И все, ничего больше не помню. Хорошо, комбат двух солдат дал в провожатые, они и меня и тебя, наверное, спасли: за тобой в общем-то и посланы были...

Она умолкла и опять долго смотрела на шоссе, на мостик, на речку, затерявшуюся в лозняках; оттуда едва внятная доносилась песня:

Услышь меня, хорошая,
Услышь меня, красивая,
Заря моя вечерняя,
Любовь неугасимая.

Пели девушки, возвращаясь, должно быть, с фермы — ее приземистые постройки виднелись справа от холма,— пели дружно, протяжно, на два голоса. И песня брала за душу в этой чуткой вечерней тишине.

— Надо же, в одну ночь! — думая о своем, сказала вдруг Валя.— Ах, война, война! И подружила и разлучила. И винить-то как будто некого.— И без паузы, сквозь грустный смешок, спросила: — Заплакать, что ли?

Я не ответил. У меня уже катились слезы. Я их вытирал, я убеждал себя, что плакать не надо, что такова жизнь.

А они все катились и катились.

Петр ЛЮБОМИРОВ

«Я ПУЛЕМЕТЧИКОМ РОДИЛСЯ...»

Закрываю глаза и вижу. Вижу отчетливо, явственно, так, как будто не минуло с той поры сорок лет, четыре десятилетия. Вижу большак. Пыльный, июльский... На нем, километрах в восьмидесяти от Брянска (в Брянске — немцы), останавливаются на привал наши танкисты.

Вот один из танкистов. Такой же, как все, пыльный, чумазый, только усатый, усы — пиками. Взгромождается на башню машины, устраивается там поудобнее. Свесив ноги, с вождением смолит самокрутку, а в перерывах между затычками ведет «задушевную» беседу с обступившими танк пехотинцами:

— Танкисты воют как? До первого боя! А там... Идешь в бой командиром танка, а возвращаешься... кем бы вы думали? Командиром танкового корпуса, во кем! Как так? А очень просто: все в танке сгорит, останется от него один этот корпус... вот и получается! И это еще, считай, повезло, скажи спасибо — успел выскочить. Бывает и хуже. Много ли нашего брата-танкиста увидишь по госпиталям? Вот то-то... У нас — так: р-раз — и квас! Амба! Нет уж, что там ни говори, а нет на земле людей более мужественных, чем танкисты! Что, неправильно я говорю?..

Закончив тираду, танкист лихо подкручивает острые кончики усов, настолько острые, что находиться поблизости от них, наверное, небезопасно — ну как уколешься! И важный, гордый — и за усы и за воинскую свою специальность — еще пуще «наваливается» на пехоту:

— Неправильно, да?

Пехота молчит. Поглядывает на танкиста с уважением, с ним не спорит. Что спорить?

Моряки на войне самыми мужественными считали — себя.

Кавалеристы — себя.

Летчики — себя.

Пулеметчики...

Я родился пулеметчиком. И хотя и говорится, что солдатами не рождаются, да так уж пелось в лихой нашей красноармейской песне — «Я пулеметчиком родился...», а из песни слова не выкинешь.

Знаменитая была песня!

Мы в бой поедem на тачанке
И пулемет с собой возьмем!..

Времена тачанок давно прошли, а песня, сложенная еще, может, в гражданскую войну, жила, продолжала пулеметчикам служить, не снималась с вооружения всю Отечественную. Мы пели ее так, словно сами носились на тех тачанках, с самим Буденным ходили в атаки.

Впрочем, иной раз я удивлялся. Как так? С гражданской войны прошло двадцать лет, а у меня, на моем личном вооружении все еще находился в точности такой же пулемет, из которого — это я хорошо помнил по кинофильму — стрелял сам Чапаев. Тот же гофрированный кожух, тот же железный клюв вороненого ствола, выступающего из кожуха, все — то же. Громоздкий станок, массивные — тележным под стать — колеса...

Танкисты — те к началу войны уже имели так и не превзойденный немцами танк «Т-34». Минометчики в самые первые дни войны уже применили легендарную свою «катюшу». У легчиков в ходе войны появился «летающий танк» — самолет-штурмовик Ильюшина, прозванный немцами «черной смертью». И лишь в пехоте станковый пулемет «максим» да еще пятизарядная трехлинейная винтовка, два основных вида стрелкового оружия, так и оставались неизменными. И пулемет и винтовка были образца тысяча восемьсот... какого-то года, достались нам еще с того века, прошлого столетия.

Иной раз хотелось ругаться, да как? Я знал: на Урале среди тех, кто делал эти пулеметы и винтовки, была теперь моя мать, которая срочно переквалифицировалась в оружейники из домохозяйек, были два моих несовершеннолетних братишки. Кого ругать?

Другие ругали, а я — нет. Воздерживался.

Теперь-то что скрывать: хлопот с «максимом» в бою хватало.

В кожухе, когда долго приходилось вести огонь, закипала вода. В самый неподходящий момент заедало вдруг ленту. Задержка!.. Опять задержка!.. Перекос!.. Ведь лента-то полотняная!

Тяжело было, ухватившись за хобот, волочить за собой «максим» по дугам и полям, а то и по болотам — «по кочам, по зажоринам» — пехота редко вела бои на дорогах — растекалась по всей местности. Еще тяжелее, отделив тело пулемета от станка, тащить все это на себе, вдвоем с напарником — шестьдесят три с половиной килограмма, не считая коробок с лентами.

Трещит солдатский пуп! — так, наверное, можно было бы выразиться, чуть перефразируя поэта-классика. Мой же друг Юферов, напарник, первый номер, высказывался на этот счет еще более определенно:

— Мы — каторжане. Станковые пулеметчики — каторжане. Других таких каторжан больше нет. Нигде..

Сказав так, Юферов Володька насаживал с моей помощью на себя станок, ровно породистый конь, взбрыкивал, чтобы станок улегся поудобнее, вытянув по-бурлацки вперед шею, топал по пыли... Нести станок было не его дело, это должен был делать я — номер второй. Но Юферов был крепче меня и меня выручал. Несли поровну — до этого привала он, потом — я..

Но зато уж и не было на поле боя другого, более страшного стрелкового оружия!

Кто воевал, знает, как вести себя в самых разных перипетиях боя. Попал под артиллерийский обстрел — вперед! Бегом вперед! Попал под минометный обстрел — вперед! Поднимайся во весь рост и сколько есть силы устремляйся навстречу противнику. Беги! Беги! до тех пор, пока не выберешься из опасной зоны. Когда там еще артиллеристы да минометчики перенесут огонь на новые рубежи, когда пристреляются!

Но если застучал станковый пулемет, команда всегда одна:
— Ложись!!!

Ни секунды промедления! Мгновенно бросайся ничком на землю, старайся втиснуться в нее, слиться с ней, сделаться невидимым, незаметным. Станковый пулемет может бить в грудь поднявшемуся на тебя врагу, может и строчить по-над самой землей так низко, что пули станут шевелить волосы на голове залегшего противника...

Прощайте, девушки-подружки!..

Это — все та же песня. Пулеметчицкая. Когда вспоминаю я эти слова, каждый раз вспоминаю еще одного своего друга — Сеницына Вениамина. Как сейчас вижу его: идет он в строю впереди всех, свободно, как-то особенно энергично, легко размахивает руками. Словно сам себе дирижирует.

...Прощай, родимая семья!
Быть может, еду я надолго,
Быть может, еду навсегда...

Вениамин был запевалой. Как запевале, ему предоставлялась льгота: когда пел, мы освобождали его от обязанности нести в порядке очереди пулемет. Но он редко этой своей привилегией пользовался. Не хотел, не мог, хотя в каждой роте, да и в каждом взводе всегда находились один, два, а то и больше таких солдат, «сачков», которые, доведись до них, эксплуатировали бы эту свою привилегию безоглядно.

Сеницын не мог. Как Юферов, добровольно подставлял свои плечи, шею, втискивал их в трехпудовое железное ярмо с двумя колесами по бокам, кряхтел, обливался потом, но... песен не забывал.

Удивительный парень был!

Родом великолучанин, он знал почти все песни, какие кому-либо из нас были известны. И не только строевые — любые, особенно народные: русские, украинские, белорусские. Даже грузинскую одну песню знал, так по-грузински и пел ее — «Садо хар чемо, Сулико?..»

И голос удивительный имел, не громкий, но чистый, переливающийся. «Из бархата, что ли, он у него?» — подшучивали солдаты.

Парень и сам хорошо, видать, знал цену своему голосу. Как-то сидели с ним на привале, слушали его. А он в ударе был: все песни, какие просили, исполнил. Настоящий концерт по заявкам устроил. А под конец не выдержал, похвалился:

— А что, ребята? Война закончится, не податься ли мне, солдатику бедному, в консерваторию? Не в музыкальный взвод, так хотя бы на

вокальное отделение, а? Чем черт не шутит, вдруг и получится из меня второй Лемешев? Не всю же жизнь пулеметчиком?..

Сказал и сам первый же и засмеялся над собой, своим пророчеством. А солдаты обрадовались, подхватили:

— А вправду! И в самом деле! Как не получится! Получится, обязательно! Ты только не трусь!.. Вот здорово будет: наш Венька — солист Большого театра!

Тут же шутя, наперебой, все стали подмазываться к будущей знаменитости. Даже Юферов, первый молчун во взводе, не удержался:

— А ты, Венчик, смотри! Когда прославишься — своих не забывай. Мы всем взводом своим к тебе наведываться будем, на каждое твое представление. Ну, если живы, конечно, останемся. Ты нам, Венчик, только того... насчет этого... сам знаешь... насчет контрамарочек.. Не забывай!

Вениамин не дожил. Не дожил ни до консерватории — не пришло, ни до настоящего первого боя. Не суждено было.

На войне никто не знает своей судьбы. Не предскажет ее никакая гадалка. За день до того, как дивизия наша была введена в сражение, уже вечером, неподалеку от лесной опушки, по направлению к которой двигалась наша колонна, показались немецкие автоматчики. Их было немного. И пробирались они опушкой осторожно, прячась за деревьями.

Мы так и не поняли, кто они были: случайно заблудившиеся, отставшие от своей части пехотинцы или специально засланные, просочившиеся в наш тыл разведчики. Нам хватило и пятнадцати минут, чтобы с ними было кончено.

Первым увидел их Вениамин.

— Немцы! — он только и крикнул. И сам, похоже, удивился этому своему крику, тому, каким сильным, пронзительно-звонким оказался у него на этот раз голос.

Немцы действительно были уже рядом. Стояли лицом к нам, нацелив из-за деревьев на нас автоматы,— всего в нескольких десятках метров от дороги, по которой мы топали. И когда мы замешкались, не сообразив сразу, что предпринять, Вениамин первым рванулся вперед, к ближайшему дереву. Встав за него, быстро приладил тело пулемета к толстому суку (крепить на станке времени не было), все тем же звонким, срывающимся голосом крикнул немцам — на этот раз по-немецки:

— Хенде хох!..

А когда те ответили стрельбой из автоматов, сам нажал гашетку.

Все это произошло в считанные секунды. Но секунд этих нам было достаточно, чтобы прийти в себя, опомниться, самим направить на немцев оружие.

Лес несколько минут трещал...

Никогда не забудешь, как может трещать июльский сухой лес, когда в нем работают пулеметчики. Кажется, давно все искромсано, и лес и сам воздух в лесу — все разбито, раздроблено, разнесено в клочья, в пух и прах, расщеплено до мельчайшего атома. А ты снова — снова и снова прикипаешь руками к рукояткам пулемета, заставляешь пулемет стучать и стучать, как будто одним им, своим пулеметом, хочешь заглушить все остальное, заставить замолчать все другие, оставшиеся еще на земле звуки.

Меньше всех выстрелов произвел Синицын.

Он не израсходовал и пол-ленты. Успел сделать всего две или три очереди. Когда стал перебегать к следующему дереву, неловко споткнулся, упал, повалился ничком и больше уже с земли так и не поднялся.

Мы даже не похоронили его.

Ушли.

Нам нужно было торопиться. Нужно было не опоздать к переднему краю, где вот уже несколько дней подряд шли тяжелые бои. И мы оставили Вениамина. Предоставили совершить последний солдатский ритуал похоронной команде.

Мы лишь оглядывались, когда уходили...

Так было. Таким был тот наш бой, так он закончился. Даже не бой — стычка, первое наше столкновение с противником, в котором опробовали мы свои пулеметы. И так — еще до настоящих боев — потеряли мы лучшего своего боевого товарища. Лучшего — потому что Вениамин был первым, кто подал нам личный пример беззаветного исполнения долга.

Пути-дороги...

Поистине неисповедимы они у солдата. И поистине не бывает на войне складных сюжетов.

Уж так получилось: вскоре после этого, всего через несколько дней, в одном из боев на той же Курской дуге я сам вместе с Владимиром Юферовым угодил под немецкие пули, был ранен, попал в госпиталь. А когда из госпиталя выписался, уже не попал обратно в свою часть — тысяча двадцать шестой стрелковый полк, в свою двести шестидесятую стрелковую дивизию. Моя дальнейшая военная биография сложилась так, что, кроме как пулеметчиком, мне довелось быть еще и бронбойщиком, и радистом, я был, правда, недолго, даже танкистом и даже моряком — в сорок пятом году участвовал в операции Тихоокеанского флота по высадке десанта в корейский порт Сейсин.

Но первая, самая первая любовь — не ржавеет.

Первое не забывается.

И я с особым чувством вспоминаю всегда свое первое боевое автоматическое оружие — первую свою любовь — станковый пулемет

«максим», вспоминаю первых своих боевых друзей-пулеметчиков и среди них взводного запевалу нашего Синицына Вениамина.

Пулеметчиком Вениамин, может быть, и не родился. Но пулеметчиком умер...

*П. Любомиров,
бывший красноармеец 1026-го стрелкового
полка 260-й стрелковой дивизии.*

Валентина КУЦЕНКО

КОНСУЛЬТАНТ

Рассказ

Время никуда не торопится. Торопятся люди. И нигде, как на съемке кино, они так не спешат, не суетятся, не торопят друг друга, хотя и большей частью понапрасну.

Старый, бывалый киноартист, а теперь худрук театра, где служила она, равнодушно пробежал взглядом телеграмму с мольбами и угрозами, требующую ее немедленного выезда на место съемки, и сказал:

— Ну вот эти два спектакля отыграете и — с богом!

Она, находясь под впечатлением отчаянной телеграммы, попыталась возразить, упрямить, но худрук только махнул на это вялой большой рукой:

— Полноте! В кино никто никогда не опаздывает. В кино опоздать невозможно...

Так она выехала на три дня позже, чем требовалось. И все же худрук оказался прав. Приехала она чуть ли не на неделю раньше. Не было каких-то бронетранспортеров, которые необходимы были для сцены, в которой ей предстояло сниматься.

Администратор, встречавший ее на маленьком аэродроме в Мозыре, доверительно сказал ей, поясняя происходящее:

— Умные люди берут консультанта, с которого можно иметь что-то полезного. Надо было пригласить генерала из военного округа. Он бы нажал, где надо, кнопки, и все было бы вовремя! А мы взяли для почта. Вот и расплачиваемся...

— А кто у нас консультант? — спросила актриса.

Это была всего-навсего третья картина в ее недлинной жизни, и ей не приходилось до сих пор сталкиваться с консультантами. Она читала их имена в титрах, но пути не скрещивались. Консультанты имели дела с режиссерами, сценаристами, либо, как сейчас сказал

администратор, щуря на нее масляные глаза, помогали «что-то иметь» для съемки, что добыть без них было бы крайне трудно. Но она их ни разу не видела да и, признаться, не думала о них.

— Ну этот, как его? Известный... У нас в сценарии он под фамилией Литвиненко. На самом-то деле у него другая фамилия. Как же его?..

Литвиненко был одним из героев фильма, командир партизанской бригады.

— Так это же хорошо, что у нас такой консультант...— возразила актриса.— Вы подумайте только! Сам герой фильма!

— Это потом, после сдачи картины скажется, а пока что это у нас вот где! — Он похлопал толстыми пальцами по своей красной жирной шее — Я спрашиваю: сейчас для работы что мы с него имеем? Лагерь не так построен — переделать, мост не такой, радиостанция не такая была... Кому это надо сейчас, какие были мосты и радиостанции? Кто их помнит? А реальной помощи получить не от кого. А взяли бы генерала, он дал указание — взвод саперов на месте, и все готово!.. Да, Морозов его фамилия настоящая. Он, конечно, большой человек, не спорю, но он по мелиорации теперь. А что нам мелиорация? Что с нее можем взять, я вас спрошу? А вот если бы мы попросили кое-кого из штаба округа...

— Вы, наверно, много работали на военных картинах? — спросила сна, догадываясь о корнях его печали.

— Только на военных! — ответил он почти с гордостью.— Но скажу вам, я первый раз на такой шарашке, где все сам делай! Нет, я к этому не привык! Зачем мне это надо?

«Вот негодяй-мальчишка!» — подумала актриса, но, ничего не сказав, откинулась на сиденье и закрыла глаза, притворяясь усталой. Администратор продолжил разговор, обращаясь к шоферу.

— Да-а, а место выбрано для съемок! — донесся скрипучий голос шофера.— Дороги — гроб! Только машины губить...

— Нет, это все не по мне, не по мне-е!

Конечно, глупо было с ее стороны так волноваться, спешить, умолять при пересадке с самолета на самолет, чтобы ее отправили пораньше, но в конце концов все складывается к лучшему. У нее будет время подумать над ролью, гримом и костюмом. Особенно над костюмом! Она очень ценила свою стройную фигуру с длинной тонкой шеей, острыми плечиками и тонкой, как у девочки, талией. У нее был редкий дар видеть себя как бы со стороны, двигаясь по сцене или перед аппаратом, она одновременно будто смотрела на себя издали. Это необычайно помогало ей в работе.

— Молодец! Умница! — уже на первых репетициях кричал из зала худрук.

И напротив, когда костюмы были не по ней, она терялась, чувствовала себя неловкой, бездарной, обездоленной. Карикатура,

рождаемая воображением, лишала ее сил. А играть ей приходилось лирических героинь. Роль, которую ей предложили в фильме, была скорее героической, чем лирической. Она должна была играть партизанку — командира взвода подрывников, гибнущую в конце. Эта гибель коробила ее своей ненужностью. Смерть героической девушки написана достоверно, но выглядела неоправданной художественно. Она всегда очень хорошо чувствовала, что нужно, а что лишнее. «Наверное, из меня мог бы выйти хороший критик! — сказала она себе мысленно. — Надо будет учесть это на будущее. Провалюсь как актриса, пойду в критику».

Худшие из смутных предчувствий оправдались уже на следующий день. Костюм, подобранный для нее, состоял из непомерно большой телогрейки, рваного полшалка и бумазейной юбки, наспех замаскированной какой-то гадостью. Еще не видя себя в зеркале, она поняла, что даже те небольшие возможности для игры, которые давал ей сценарий, намертво задавлены уродливым костюмом.

— Но я вас так вижу! — широко открывая зубастый рот, спорила художница по костюмам. — Вот вы такой мне представляетесь. И, кстати, эскизы костюмов утверждены худсоветом, так что...

Она пошла к постановщику. Пошла прямо в этом нелепом наряде, надеясь, что очевидность его несоответствия бросится сразу в глаза. Но режиссеру не бросилось. И чем больше слушал он ее рассуждения, тем больше хмурился. Режиссер был юн и потому ревнив к своей власти. Нехватку авторитета он, как и многие молодые режиссеры, заменял апломбом.

— Я вас прекрасно понимаю, — перебил он ее, — но вы тоже должны понять нас! У нас картина про войну. Когда у людей не было выбора, они одевались во что придется! Я бы рад одеть вас в бальное платье со шлейфом... Но где его взять на войне?

«Дурак! — обругала она его мысленно. — Боже, какой самоуверенный осел!» — но вслух сказала, любезно улыбаясь:

— Я знаю, что дело происходит на войне... Но не думаю, что молодая женщина, девушка могла так опуститься и ходить в такой затрале... Я просто не могу понять ее такую!

— Ходили и похуже! — все с тем же апломбом возразил режиссер-постановщик и повернулся всем своим плотным коротким телом к худощавому человеку с желтым болезненным лицом, который сидел у окна и, видимо, страдал от табачного дыма, струящегося по комнате.

— Вы спросите товарища Морозова...

«Это консультант, — подумала актриса и подивилась тому, как он не похож на красавца артиста, играющего роль Литвиненко. Она внутренне напряглась, ожидая услышать очередное возражение своей просьбе, но консультант неожиданно взял ее сторону.

— Я думаю, правда на стороне товарища Козыревой, — мягко, улыбаясь, сказал он. Она была приятно удивлена, что он, при всей

незначительности роли и незнатности ее положения в искусстве, запомнил ее фамилию.

— Выбор был невелик, это точно, но девушки все же выбирали. Менялись... Вот если не по ней, скажем, телогрейка, она весь лагерь обойдет, а найдет то, что ей к лицу, к фигурке. Женщина есть женщина. Да и мы старались ходить подтянутыми. Особенно командиры. Вот если б я встретил в лагере так одетую девушку, то спросил бы ее: почему опустилась? Почему за собой не следишь? Или, может, подумал бы, что она в разведку идет и ее переделки так нарочито... Вообще-то мы старались следить за внешним видом всех партизан. Ну, а девушки стремились сами быть поприглядистей...

— А вы только что говорили мне, что любовные истории были у вас под запретом? — кисло спросил режиссер.

— Строго преследовались! Строжайше!

— И в то же время... м-м... — режиссер пожал плечами.

— А это в корне разные вещи! Если девушка держится с достоинством, она вызывает красивые мысли, красивые чувства. Это же психологически так! Ну, а халда — какие чувства может вызывать? Хватай ее в охапку и тащи в кусты... Все у нас было продумано! Если мы замечали, что возникло взаимное тяготение, я тут же приказывал: ее направо, его налево, в разные отряды, чтобы не могли встречаться! Где любовь, там ревность, драмы, а война сама по себе трагедия. И драмы с нею не вяжутся — они из другого мира.

«О-о,— подумала актриса,— а консультант у нас настоящий!» Она уже знала, и хорошо знала, как редки в искусстве иazole искусства люди, чья мысль не повторяет, как эхо, чужие мысли. Души их как бы отвечают миру не отражением, а собственным своим звучанием. Она называла таких людей «настоящими» и всегда искала случая поговорить с ними, послушать.

— Погодите, погодите, я хочу понять логику... — говорил режиссер.

— Да логика та же, что и сейчас. Уважение к женщине со стороны мужчин, и чтобы женщины высоко ценили свое достоинство. Другое качество отношений...

— Ах, вот оно что...

— Неправильно, я считаю, так разделять жизнь, как сейчас многие делают. Это, мол, жизнь, а это война. Всюду жизнь. И война от мирного бытия отличается не столь разительно, как они это себе представляют. Опасностей побольше, смерть поближе... Но это и в мирное время есть. Только мирная жизнь выражает себя больше в количественном отношении. В ней количественные показатели играют большую роль, нежели на войне. Сплошные отчеты, сколько чего сделано, стаж работы, поощрения, взыскания, сколько, когда...

— Полезный метраж! — весело сказал режиссер.

— Да, погонные метры, выработка... Качество где-то на втором

плане оказывается, а количество — все на свете. А на войне наоборот: качество! Особенно в партизанском деле! Качество поведения решало все! Ну вот принято говорить: «Спустили под откос эшелон». А если откоса нет? Куда его спустишь? Подорвали один раз, хорошо, если вывели паровоз из строя. Он постоял, починился, дальше пошел. Бывало так: посылаешь шифровку в Центральный штаб Пономаренко: «Такие-то эшелоны тогда-то нами спущены под откос». А на следующий день от Пономаренко взбучка: «По данным разведки указанные эшелоны прибыли на станцию Орша». Были эшелоны, которые мы спускали раз пять. И все они доходили до назначения. Правда, с задержками, снижалась скорость перевозок. Некачественная работа!..

— А как же спустить под откос качественно? — спросила актриса, заинтересовавшись. Ей предстояло, по роли, минировать путь, по которому пойдет обреченный эшелон.

— Для этого, как я говорил, надо иметь откос. А на откосах немцы, обычно, сосредоточивают всю охрану. Удавалось порой, но трудно и дорого нам это обходилось. Вот поэтому и было принято решение начать рельсовую войну, про которую вы сейчас картину снимаете. Это дело уже иного качества!

— Количество перешло в качество? — спросил режиссер.

— Н-не совсем так. Просто решили действовать иначе. Видите ли, до этого мы были как бы движенцами, охотились исключительно за эшелонами и, конечно, терпели, как я объяснил, качественные потери. А тут нашей целью стало вывести из строя дороги. Разрушать рельсовые пути немцев. Как бы в путейцев перекалифицировались. Мы разбивали почти каждый рельсовый стык. Привели в негодность почти каждую рельсу. Знаете, немцы разбирали пути в Голландии, Бельгии и везли рельсы оттуда к нам, в Белоруссию. А мы их тут крошили! В результате сотни эшелонов скопились на узловых станциях, авиация их разделала в лучшем виде. Я понимаю, что для кино эффективней, конечно, спустить эшелон с насыпи, но это не рельсовая война... Рельсовая — это когда партизаны выходят на путь, ставят под рельсовый стык толовые шашки и рвут километр за километром... Но я понимаю, что поезд спустить — выразительней!

— Другой эффект! — сказал режиссер и уставился на актрису. — Да... — протянул он, отводя взгляд. — Однако ведь вы жили в землянках, в антисанитарных условиях, без малейшего комфорта...

— Когда немцы начали нас гонять в разгар рельсовой войны, то конечно... Даже землянок не было. И в ямах приходилось ночевать или так, под елками... Но как только удавалось оторваться, сразу же старались устроиться. Баня, стирка... Девушки даже утюг с собой таскали. Большой такой портновский утюг! Я ахнул, когда увидел...

Режиссер снова поглядел на актрису, откинувшись на стуле.

— Нутк чтэ ж!.. — проговорил он. — В этом есть резон. Да-а, резон

есть! Подберите себе что-нибудь... Исходя из основных направлений нашего разговора. Посмотрите там, в костюмерной. Но только в соответствии с эпохой! — добавил он и виновато покосился на художницу по костюмам, обдавшую его негодующим и обиженным взглядом. — Вы контролируйте, Вероника Даниловна...

— Ничего я не буду контролировать! У меня есть свое виденье, вы не хотите с этим считаться, хотя эскизы утверждены худсоветом, и я могла бы... Но пожалуйста! Я свое мнение сказала, а контролировать — слуга покорная!

— Ну, не контролируйте. Не контролируйте, если вы уж на таком принципе... Пусть сама.

Остаток дня актриса провела в ризнице старой заброшенной церкви, занятой под костюмерную. Она долго рылась среди разложенных и развешанных тряпок, перемерила, вертясь перед зеркалом, десятки одежонок, пока, наконец, из немецких брюк, заправленных в сапоги, заношенной железнодорожной тужурки и кубанки ей удалось создать нечто, по ее мнению, пристойное. Даже художница, крепя сердце, одобрила:

— Да, приемлемо... Это не тот образ, который я замыслила, но... В этом есть лихость! Покажитесь режиссеру.

Она побежала показываться, но, узнав от помрежки, что консультант уже ушел, передумала. Ей хотелось, чтобы он тоже увидел, оценил ее замысел. Поэтому сказав костюмерше, что возьмет костюм «в обноску», ушла в нем. А утром снова надела.

Она увидела их возле «рафика» — они ждали кого-то, судя по виду, собирались ехать — и подошла к ним.

— Вот — другое дело! У меня точно такая была командир группы подрывников... — улыбаясь несколько болезненно, сказал консультант, — только бы пистолет за пояс... Да еще кос не хватает.

— Пистолет мы дадим. А насчет кос надо с гримерами поговорить. Косы было бы не худо. Не худо! — сказал режиссер. — Ну что? В общем нам нравится.

— Эта Катя, о которой я вспомнил, — продолжал консультант, — такая толстуха стала теперь. Встретил — не узнал. Она директор совхоза, мы у ней земли осушали. А муж ее так почти не изменился, такой же сухощавенький, быстрый. Не поседел, не облысел. Он у меня радистом был.

И консультант опять слегка поморщился.

«Почему? — подумала актриса. — Что-то неприятное с ним связано, что ли?» — и вслух спросила:

— А когда они поженились?

— После войны. В отряд они пришли молодыми, ей шестнадцать, ему восемнадцати не было. Но началось все в бригаде, в нарушение нашего партизанского устава. Пошутили мы теперь на этот счет,

посмеялись. А тогда бы узнать — разлетелись бы по разным отрядам и не увиделись!

«Как интересно! — воскликнула актриса мысленно. — Вот такое сыграть! Вот была бы роль! И как можно сыграть!»

Режиссер спросил в это время:

— Значит, не очень все же следили строго за этим?

— Следить-то мы строго следили. Но конспирация у них, выходит, тоже была поставлена как надо...

Подбежал оператор, что-то дожевывая на ходу.

— Ну, поехали, поехали! — нетерпеливо сказал режиссер, призывая жестом в машину.

— А мне нельзя с вами? — робко попросилась актриса. — Ну право же, мне нечего делать...

— А с нами вы что будете делать? — усмехнулся режиссер. — Мы же едем на выбор природы, по лесам, по болотам. Если задержимся, то придется даже заночевать в Бобруйске...

— Я тоже посмотрю. А вдруг это мне как-то поможет почувствовать атмосферу, найти себя в этой роли...

На самом деле она просто хотела побыть с консультантом. Ей казалось, что он знает нечто такое, что необходимо, как воздух, какое-то слово, тайну или ключ, которым она откроет себя и поймет смутно ощущаемый ею смысл жизни своей, жизни маленькой актрисы из не очень знаменитого театра.

— Залезайте, садитесь! — кричал ей из машины оператор. — Веселей будет!

— Ну, не кайтесь! — предупредил режиссер, и она поехала с ними. В пути было жарко, скучно, томительно. Едва свернули с асфальта, пошли такие дороги, что не приведи бог! Они напоминали какие-то длинные желоба, забитые доверху желтым зыбучим песком, в котором их «рафик», визжа, извиваясь, выбиваясь из сил, еле-еле полз куда-то вперед. Темные хвойные чащи подступали вплотную и тихо шумели на ветру. Актрисе казалось, что они презрительно обсуждают и выбивающуюся из сил орущую машину, и людей в ней, молча и непрерывно переживающих за нее. Она и в самом деле устала так, будто сама тянула или подталкивала буксующий автомобиль.

— Если б знал, что дорога так изменилась, я бы вас не направил по ней... — проговорил консультант. — Все изменилось, трудно узнать, — добавил он после молчания. — Где был лес, стало поле. А где были поля, там лес вырос...

— Так, может, и зря едем?.. — мрачно спросил оператор.

— Не исключено...

И снова молчание. Только рев машины и пронзительный визг песка по бортам и окнам.

— Там дальше карьеры. Это самосвалы, наверное, дорогу разъездили, — сказал консультант.

Ему не ответили. Пытка эта продолжалась уже полтора часа. Наконец они выехали к «ростани», как в Белоруссии называют скрещение дорог, и выбрались из песчаной канавы на влажный, но крепкий грунт, свернув налево, в еще более темную чащу. Ветки то и дело задевали по крыше «рафика»... Консультант болезненно кривился, держась за бок.

— Вам плохо? — с тревогой спросила актриса.

— Да, прихватило маленько...

Но прихватило его порядком. Он даже прилег на сиденье. Остановили машину, наполнили горячей водой из радиатора бутылку, и консультант приложил ее к больному боку. Когда наконец добрались до места, он немного отошел, хотя был еще бледен и дышал осторожно.

— Вот здесь у нас была переправа... — сказал он.

Мрачные ольховые заросли подступали к болоту, тускло мерцающему среди черных кочек и редких безлистных деревьев. Черная полоса гати, поросшая угрюмыми кустами, тянулась через болото, уходя в лес. Актриса ощутила невольную дрожь. Все вокруг излучало тревогу.

— Немцы знали про эту гать и тоже рвались к ней, чтобы отрезать нас от нее, — немного оживясь, продолжал консультант, — но мы раньше успели! Вот там их держали, за высотой, не пускали, А если бы немцам удалось ею овладеть, они бы нас расстреляли, как мишени на стрельбище. Оттуда мы — на ладони... Да, это был один из самых опасных моментов за всю войну...

— Много вас было? — спросил режиссер.

— Считаю вместе со стариками, детьми, женщинами, которых мы выводили с собой, тысяч до трех. Да еще обоз... Дело шло к осени, продовольствие надо было забрать. Коровы, лошади, куры, овечки — большое хозяйство. А зондеркоманда у немцев была тоже крупная. Два батальона СС, полиция, с артиллерией, минометами. Мог быть здесь нам и конец!

— Страшно было? — спросила актриса.

— Тогда об этом как-то не думалось... Времени не было бояться.

— И человек не тот, чтобы бояться! — важно сказал режиссер. — Ну что ж, это все довольно выразительно выглядит.

— Темно! — возразил оператор.

Он потыкал экспонометром в пространство, каждый раз заглядывая на циферблат, покачал головой:

— Темно! Снимать невозможно!

— Ну все же видно...

— Это глазу видно! Дайте мне пленку с чувствительностью, как у глаза, я вам хоть в пещере буду снимать! А здесь темно. Все уйдет в черноту.

Режиссер безуспешно пытался спорить, но оператор стоял на своем.

— Нет, я, конечно, тоже страху подвержен, — сказал консультант

актрисе, — но когда на тебе такая ответственность, то страх за себя как бы отключается... Ну, разумеется, в известной степени — фатализм! Недаром в народе говорили тогда: своей пули не избежать, а чужая тебя не тронет. У меня вот здесь, возле этого обрывчика, произошел случай. Я в бою никогда не пользовался своим личным оружием. Оно в кобуре, а в руках что подвернется. Тут мне подвернулся парабеллум, я с ним бегаю. А как раз подходят к переправе подводы с ранеными, обоз, бабы, детишки... Я одному партизану, был у меня — Сашко, поручил заранее переправить всех их в первую очередь. А немцы уже сгустились, открыли огонь из минометов, хоть и по площади бьют, но много огня. Вдруг вижу: вместо того, чтобы переправляться, обоз и все прочие укрылись в ложбинке. А медлить нельзя! Нахожу Сашка, говорю: переправляй немедленно! Он в ответ: сейчас, сейчас сделаю. Парень он исполнительный... Я уверен, что сделает, убегаю к прикрытию, там руковожу огнем, сдерживаю немцев в полной надежде, что переправа идет. Возвращаюсь: все на месте. Сашко сидит в яме. Что с ним стряслось? Достают пистолет, показываю и говорю: в третий раз приказывать не буду. Вот здесь твоя пуля! Он, конечно, бормочет: есть, есть, сию минуту... Немцев еле сдерживаем! Возвращаюсь минут через десять — обоз на месте, в той же ложбинке, и в той же яме сидит Сашко. Ну, я, вне себя от ярости, выстрелил в него из парабеллума. Отдача была такая сильная. В полной уверенности, что он убит, бегу сам организовывать переправу. Поднял, направил, поставил других людей этим командовать, сам опять убежал в бой. Сумели мы выйти, вывести народ, и отряды оторвались, немцы по гати преследовать не посмели: бессмысленно. Ушли мы от них, остановились лагерем. И вдруг вечером вижу: Сашко — живой и невредимый! Он меня не видит, спрашивает у кого-то: а что, комбриг очень злой или нет? Можно ему на глаза показываться? Не расстреляет он меня?

— Ну и как вы поступили? — спросила актриса, заранее жалея Сашка.

Консультант пожал плечами.

— А что с ним делать? Остался жив-здоров — твое счастье! В бою, в горячке одно дело, а когда все позади... Под суд его отдавать, что ли? Некоторое время он меня избегал. А потом все забылось. У меня такой закон был: можно забыть — забудь! И прости! А в бою — там другие законы...

Гать узкая, вязкая, ехать по ней на машине было жутковато, но страшнее было думать о том, чтобы возвращаться назад, на Бобруйское шоссе по тем пескам...

— Ну как? Атмосферу почувствовали? — с усмешкой спросил режиссер, оглядываясь на нее с переднего сиденья, когда машину особенно угрожающе качнуло над трясиной.

— Да, почувствовала! — ответила она с вызовом, потому что в душе ее действительно происходила какая-то важная, хотя и необъ-

яснимая, но крайне нужная для нее работа. Как-будто что-то растрескивалось, рассыпалось или, напротив, кристаллизовалось из смутного жидкого состояния. Она знала теперь, что поехала не напрасно. И ей почудилось вдруг, что она понимает связи былого, настоящего и будущего. Не то чтоб вполне понимает, но уже ощущает, слышит их, как звон далекой струны в тумане и по этому звуку угадывает. Она подумала о своей роли, и стало досадно и обидно, что ей, по сценарию, отпущено так мало места. Но что-то более важное, чем эта роль, смягчало ее досаду. Что для нее искусство? Почему она пошла в актрисы? Что потянуло ее изображать чужие жизни? Жажда славы, надежда на успех?.. Она знала уже, что не это, не это...

Возможность прикоснуться к великому, настоящему, к той силе, которая заставляет идти человека на крест, под пули, стремиться к ледяным вершинам, бескрайним просторам вселенной... Притронуться к этому хотя бы краем души, хотя бы воображением пережить могучий порыв, безмерную скорбь, великую муку, но непременно великую...

И неужели это все исходит сейчас от болезненного желтолицего человека, хватающегося за бок? Или это только обманчивое впечатление, иллюзия, ширма, за которой прячется подлинная сущность человеческого существа, сущность, вынужденная себя скрывать, ибо доступна не всем?...

Места в гостинице были заказаны, но как раз начиналась пересменка, и их попросили подождать в вестибюле.

— Знаете, раз нам все равно ждать, — заговорил консультант, — давайте съездим и посмотрим один дом. Я здесь в подполье начинал, как городской партизан. Мне любопытно: сохранилась ли та квартира, в которой я жил и из которой ушел в лес в сорок первом году? Я несколько раз порывался заглянуть, но то дела, то еще что-нибудь...

Дом оказался целым. И квартиры тоже. В большой низкой комнате, куда их привел хозяин-сапожник, подозрительно зыркающий из-под густых сивых бровей, стоял стол, диван, шифоньер. В углу — груда сваленной обуви, сапожный верстачок, молоток, коробочки с гвоздиками и шпильками.

— Здесь шкаф стоял... — сказал консультант, показывая на стену, у которой притулился диван.

— Был... — согласился сапожник, — стоял такой... бегемот.

— Вот именно, бегемот... — улыбнулся консультант.

— Но со временем развалился. Все разваливается с годами.

Загадочно улыбаясь, консультант оглядывался вокруг. По неуловимой веселости в выражении его лица, рассеченного глубокими морщинами, актриса смутно почувствовала, что за его воспоминаниями кроется что-то особенное.

— А вы давно живете в этой квартире? — спросил он.

— Давно-о! С войны, — ответил сапожник.

- Комнату эту знаете, как свои пять?
— Да уж знаю! — ухмыльнулся сапожник.
— И все же, я думаю, вы не все здесь знаете!

Сапожник покачал головой.

— Все!

— А если нет?

Сапожник полез в карман, выудил несколько смятых бумажек, взглянул их на ладони.

— А если нет, то у нас так принято: кладите сверху и чья взяла, тому и пойдут!

Консультант засмеялся и вдруг серьезно попросил:

— Дайте ножа...

— Кали ласка... — сапожник подал нож и насмешливо посмотрел почему-то на печку.

Но консультант отвернулся от печки, подошел к двери, раскрыл ее пошире, стал на табурет, подцепил ножом верхнюю планку, вынул оттуда небольшую дощечку, прикрывающую аккуратно выдолбленную щель, запустил туда пальцы и при общем напряженном молчании извлек кипу разных бумажек.

— Что это? — нетерпеливо спросил режиссер.

Консультант протянул ему бумажки. Спрыгнул со стула, отряхнул руки.

— Это бланки аусвайсов, пропусков немецких, поддельные талоны на продовольствие, карточки. Я так наловчился их делать... Вот смотрите: это настоящая аусвайс, а это моей работы. Отличите?

— Ну здорово... Великолпно! — бормотал режиссер. Оператор, взяв бланки, сравнил их на просвет.

— И бумага одинаковая...

Консультант ласково улыбнулся хозяину квартиры:

— А говорите: все знаю, все знаю...

— Да-а, чуток не погорел! — сказал тот, разводя руками. — Главное, петли у двери менял, снимал ее, но сверху заглянуть не подумал. Но я другое нашел. Раз вы такие люди, вижу — могу вам поверить. Лет десять назад, когда эту печку чинил, в дымоходе сбоку обнаружил я боевой пистолет. В тряпку завернутый, с обоймами, как положено. Приржавел, конечно... Ну я его снес в милицию, сдал по акту. Вот и думал, что вы о нем...

— Это наш! Я и забыл про него! — сказал консультант. — Мы бегом уходили. Три минуты, и нас тут нет. Но немцы, стало быть, не добрались ни до этих бумажек, ни до пистолета.

— Как видите.

— Да, долго мы колебались: уходить, не уходить. В лес зимой не хотелось... А так вышло, что пришлось удирать. Но успели! Ну как? Не пригодятся нам эти бумажки? Может быть, отдадим их в какой-нибудь школьный музей?

— Нет, нет! Мы подумаем, как их использовать, мы подумаем,— бормотал режиссер.

Вечером за ужином консультант подробно рассказал, как он, младший политрук-окруженец, оказался в Бобруйске, как удалось сколотить группу подпольщиков, успешно действовавшую в городе до декабря сорок первого.

— Мы стали замечать, что СД вот-вот к нам подберется. Но все тянем: еще, мол, недельку, поднакопим продуктов, людей наберем побольше. А тут вышла такая штука. Наши ребята утром на маслозаводе спустили цистерну подсолнечного масла. Двадцать тонн в землю. Заодно мне налили графин, принесли. Графин этот стоит на столе. Вдруг дверь открывается — комендант! Здоровый такой немец, порусски говорил неплохо. Имел привычку шастать по домам. Без стука заходит, смотрит: что делать? Так и на этот раз. Не успели оглянуться — вошел, смотрит: «Как дела?». «Все,— говорим,— нормально»... «Нормально...» — подходит к шкафу. Постучал тросточкой. Он с тростью ходил. «Что здесь такое есть?». Мы отвечаем: вещички, мол, одежда... А у нас там были спрятаны патроны, медикаменты, сухари и другие продукты. Для леса готовили. А сверху мы действительно все закидали одеждой. Побольше грязного, заношенного белья навалили. Открыл он дверцу шкафа, а оттуда «шибануло спиралью», как говорится. Там портянки сверху лежали. Он от запаха сморщился и закрыл шкаф. Посмотрел на стол, увидел графин: это что? Я растерялся немного. Но рядом с графином лежала книга. Сделал вид, что не понял, и отвечаю: «Лермонтов». Он усмехнулся, сказал: «Ха-ха! Лермон-тофф!». Круто повернулся и вышел. Вот положение: придет он сейчас к себе в комендатуру, ему доложат, что спущена цистерна масла. Он же два и два в уме сложить сумеет? Все сразу поймет. Короче, немец за калитку, а мы через дворы на окраину. Лазейки у нас были, и мы в лесу так и остались до самого конца. Сначала нас было пятнадцать человек, но стали прирастать, прирастать люди, а к сорок четвертому году на довольствии числились шесть тысяч партизан. Мне к тому времени присвоили звание полковника, но недолго папаху поносил: сразу по освобождению этих мест ЦК отозвало из армии на партийную работу, потому что дел было здесь — край непочатый. Ту самую дорогу, которую разрывал на клочки, ее же и восстанавливал...

— Вам, наверно, очень интересно встречаться с местами, где вас поджидала гибель? — спросила актриса.

Консультант грустно улыбнулся. Глубокие морщины еще резче обозначились на лице.

— «Все то, что гибелью грозит, для сердца нашего таит невыразимы наслажденья...». Так, кажется, у Пушкина сказано? Я это могу принять с оговоркой: не гибель, конечно, привлекательна, а радость удачи. Смерть — дело житейское. Она может прийти где

угодно. Но сознание того, что ты ее одолел, приносит чувство радости... Мне очень хочется завтра провести одно местечко — переезд через железную дорогу... Не знаю, существует ли он теперь. Но хорошо помню, где он был тогда... Как это? Возможно? — спросил он режиссера.

— Конечно, сколько угодно! Все то, что считаете нужным, показывайте. Я вообще склонен остановить съемки недельки на две и вплотную заняться сценарием! По-моему, мы снимаем не то... Надо его переписать! Да!

— Ну-у! Это вы слишком хватили! — покачал головой консультант. — Сценарий хороший... Так тоже могло быть, как там написано. Все могло быть! Самое невероятное! Вот хотя бы случай у этого переезда. Мы шли с товарищем, надеясь выбраться из окружения. Документы, конечно, порвали, выбросили, армейское обмундирование, сапоги и прочее обменяли в деревне на крестьянскую одежку. Билет партийный оставил все же, хоть и понимал... Но партбилет — это всем документам документ. Раз ты его сохранил, значит... Ну, сами понимаете. А в одежде моей, как назло, только один кармашек был: на груди в рубашке. Штаны почему-то без карманов были. Рабочие, в поле ходить. Ну и пришлось партбилет положить в этот кармашек, чтобы в случае опасности можно было спрятать куда-нибудь... А потом забрать.

А товарищ мой — все сжег: удостоверения, справки — все! Оно и понятно: командирское. Немцы схватят — не поздоровится. Подобрал он где-то на дороге корки от военного билета, взял на всякий случай вместо документа. Идем так: если слышим, что машины гудят, немцы едут — прячемся в канаву или в лес. Бели пост при дороге, — обходим стороной. С немцами мы еще не встречались, опыта нет и не спешим покамест набираться его. И так благополучно дошли до железной дороги. Впереди переезд. Немцев не видно. Но, может, они за насыпью? Думали, думали, решили рискнуть.

Только приблизились к насыпи, с другой стороны поднимается немец с автоматом... «Хальт!» Ну что будешь делать? Мы застыли. Немец осмотрел меня с ног до головы внимательным, прощупывающим взглядом, ни слова не говоря. Не успел я опомниться, как он протягивает мгновенно руку и берет из кармана мой партбилет, раскрывает, смотрит на фотографию, потом на меня. И... сует партбилет обратно мне в кармашек. «Вэк!» — машет рукой. Проходи, мол! Я пошел! Иду, весь сжавшись: жду, что будет в спину стрелять. Ничего подобного. Прошел.

— Немец по-русски не понимал! — догадался режиссер.

— О том и речь! И партбилет ему в руки не попался до сих пор. Он его принял за какой-то рядовой документ.

— А может, это был немецкий коммунист? — предположила актриса.

Консультант печально взглянул на нее:

— Нет, исключено! Товарища-то он задержал...

— «Корочки» не прошли?

— Да! «Корочкам» не поверил. Засвистал, вызвал конвой, увели парня. А я спокойно добрался до города. Там встретил других товарищей. Показал им свой партбилет, они мне — свои партийные и комсомольские документы. Взаимная проверка... Установилось доверие. Вот так, знаете, партийный билет, можно сказать, спас мне жизнь при встрече с врагом и сразу же свел меня с друзьями на всю войну...

— Ах, черт возьми! Как жаль, что у нас нет начального периода войны в сценарии! Какая сцена!

— Правда? — удивился консультант. — А я ее стесняюсь рассказывать. Чистая случайность!

— Великолепная сцена могла бы быть! Великолепная!..

Много позже, когда они расходились по номерам, режиссер спросил ее:

— Ну не жалеете, что поехали?

— Что вы?!

— Обогатились?

— Да! Просто не ожидала такого! Только знаете... Вот все, что услышала, интересно, своеобразно... Ну почему у нас в сценарии... — она запнулась, подыскивая слова, и быстро, как бы решившись на самое важное, добавила: — Как-то все уж очень похоже на то, что было в других картинах?.. Все одинаково...

Режиссер выпятил губу и слегка пожал плечами.

«Обиделся», — подумала она.

— А сценарии все такие! — вдруг выпалил он и со вздохом махнул рукой. — Не разыграешься, кума. Нет, не разыграешься! Они их друг у друга списывают, а мы снимаем. Что поделаешь? Да не в сценарии дело. Фильм можно снять даже по телефонной книге. Важно передать атмосферу, состояние. А сценарий... Мы с тобой можем снять фильм по телефонной книге, правда? — обратился он к оператору, идущему следом за ними.

— Снять можно. Смотреть будет трудно, — ответил тот.

— Нет и смотреть! И смотреть!..

Консультанту в ту ночь опять стало худо. Врач из неотложки категорически потребовала везти его в клинику, к специалистам. Позвонили в Минск, вызвали машину. Больной после уколов ожил, пришел в себя, стал уверять, что он совершенно здоров.

— Это уж нам позволяйте решать! — отрубил врач.

— Как жалко! — сказала актриса.

— Самому обидно! — вздохнул консультант. — Главное, что я себя совсем уже хорошо чувствую. И чего это я буду лежать?

— А можно я к вам заеду? — спросила она.

— Конечно! — Он слегка удивился. — Буду счастлив...

— Мой стимул, конечно, эгоистический... Но так хочется еще послушать вас... так надо мне понять то состояние душевного наполнения, что ли, в котором люди жили тогда... — смущаясь, быстро заговорила она. — Можно и самой нафантазировать, но все не то, не то... Надо прочувствовать, чтобы донести со всей достоверностью! А когда я вас слушаю, у меня такое чувство, будто я сама там была!..

— Спасибо, — сказал он, — буду ждать.

С мягким воркотанием к гостинице подъехала длинная белая санитарная машина.

— Ну право же, зря! — с досадой произнес консультант. — Я давно так хорошо себя не чувствовал, как сейчас. Напрасно людей беспокоим, машину гоняем. А я здесь очень нужен для дела...

— Пожалуйста, пожалуйста в машину! — строго сказала врач.

— Ну, до свидания! — консультант пожал руки провожающим. — А ваш вопрос... — он задержал руку актрисы. — Поверьте, не было никакого особого состояния. Обстоятельства были другие, а люди те же самые, только в соответствии, конечно, с обстановкой. А к ней привыкаешь быстро. Но это все внешнее. Внутренне человек не меняется. Он и в космосе, и под землей — тот же самый. Так что: достойный доверия — он везде и достоин доверия. И наоборот... Итак, всего доброго!

— Товарищ Морозов! — вспомнила вдруг актриса. — Я вот что хотела... Скажите — тот парень, который потом вернулся...

— Сашко?

— Да... Вы обрадовались, когда увидели, что он живой?

— А как же! Конечно! Мы в тот день понесли такие потери, что я каждому живому был рад. Ну а тут, вы понимаете, вдвойне!.. Приходите, приходите! Буду рад!

— До свидания! — махала она вслед машине.

Свидания, однако, больше не было. Болезнь оказалась запущенной. Срочная операция, сделанная в клинике профессором с мировым именем, затем другая не помогли. Медицина, увы, не всесильна. В титульных надписях картины фамилия Морозова была заключена в рамку.

Но в душе актрисы короткая встреча эта оставила глубокий и чуткий след, как бы трепетный огонек, особенно ярко разгоравшийся, когда невзгоды и неудачи начинали затемнять ее жизнь, отнюдь не баловавшую легкими успехами. И хотя со временем другие встречи с другими людьми потеснили эту и она понемногу стала тускнеть в памяти, невидимый огонек продолжал мерцать в глубине ее существа все так же трепетно и неугасимо. И она часто повторяла себе, что огонь зажигают только огнем.

СО Д Е Р Ж А Н И Е

<i>Павел Дубинда. Почти жизнь тому назад... Быль. Литературная запись Станислава Калиничева . . .</i>	3
<i>Константин Проимин. Заря моя вечерняя. Рассказ . . .</i>	28
<i>Петр Любомиров. «Я пулеметчиком родился...» Записки солдата</i>	43
<i>Валентина Куценко. Консультант. Рассказ</i>	49

ПОЧТИ ЖИЗНЬ ТОМУ НАЗАД...

Рассказы о войне

Составление **Е. Ф. Олейника**
Редактор **Е. Ф. Олейник**
Технический редактор **О. Н. Ласточкина**

Сдано в набор 04.04.85. Подписано к печати 06.06.85. А 00364.
Формат 70×108¹/₃₂. Бумага газетная. Гарнитура «Школьная».
Офсетная печать. Усл. печ. л. 2,80. Учетно-изд. л. 4,20. Усл.
кр.-отт. 2,28. Тираж 85 000 экз. Изд. № 1131. Зак. № 597.
Цена 25 коп.

Ордена Ленина и ордена Октябрьской Революции типография
имени В. И. Ленина издательства ЦК КПСС «Правда». 125865,
ГСП, Москва, А-137, ул. «Правды», 24.

Выигрышей — десятки миллионов

● Билеты спортивной денежно-вещевой лотереи «Спринт» можно приобрести в киосках «Спортлото». Их стоимость — 50 копеек, а в специальных выпусках — один рубль.

● В серии со стоимостью билета 50 копеек разыгрывается 10 автомобилей («Волга», «Жигули», «Москвич», «Запорожец»), три мотоцикла («Днепр», «Иж-Юпитер», «Урал») и денежные суммы от одного до 5 000 рублей.

● В серии со стоимостью билета один рубль разыгрывается двадцать автомобилей, в том числе две «Волги», и денежные суммы от трех до 10 000 рублей.

● «Спринт» — лотерея без тиража. Чтобы узнать результат, достаточно купить билет и вскрыть его. Размеры денежных и наименования вещевых выигрышей указаны на запечатанных в конверты билетах.

● Выигрыши до 25 рублей включительно выплачиваются по месту приобретения билета общественным распространителем. Для получения более крупного денежного или вещевого выигрыша билеты сдаются на экспертизу в Центральную сберегательную кассу или сберегательную кассу первого разряда.

● По окончании экспертизы денежные выигрыши можно получить в сберкассе, а вещевые высылаются в адреса владельцев Роспосылторгом.

● Выигрышный фонд каждой серии составляет 50 процентов суммарной стоимости выпущенных билетов. Доходы лотереи направляются на развитие физкультуры и спорта, главным образом на строительство спортивных сооружений, на организацию массовых соревнований. Общий выигрыш участников лотереи — новые стадионы, дворцы спорта, спортивные залы и бассейны, возможность систематически заниматься физкультурой и спортом, укреплять свое здоровье.

Главное управление спортивных лотерей
Спорткомитета СССР